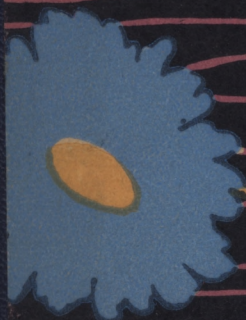


А. ДАВЫДЫЧЕВ

Луи
Дальних
поездов



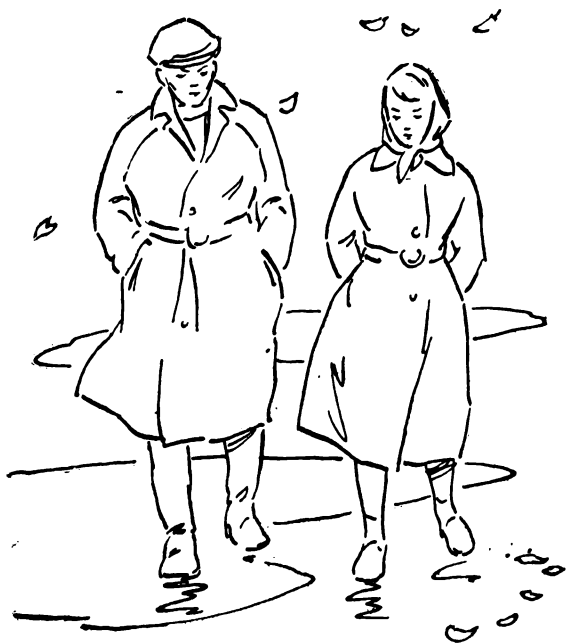


Л. ДАВЫДЫЧЕВ

У
дальних
поездов

ПЯТЬ
ТЕТРАДЕЙ
РАССКАЗОВ

Пермское книжное издательство
Пермь — 1961



ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

СЛУЧАЙНЫЙ СПУТНИК

Глядя в темноту за вагонным окном, он вздыхал. Вздыхала и толстененькая проводница с черненькими глазами-бусинками. На пятый день пути она не выдержала, подошла и спросила:

— Почему не спите?

— Не спится, — ответил парень. — А вам, верно, спать хочется?

— Ой, что вы! Совсем нет. Я привычная. Я могу по трое суток на ногах, и ничего со мной не будет.

— Занятная у вас работа, — грустно сказал парень, по-прежнему глядя в окно. — Новых людей много видите.

— Плохо это! — горячо призналась она. — Только познакомишься, а и расставаться пора. Кто на станции сойдет, а кто и на ходу выпрыгнет.

— А кто-нибудь когда-нибудь и вас с собой возьмет, — в шутку ответил парень.

Проводница нахмурила полукруглые тонкие брови и проговорила:

— Анюта из пятого мягкого за моряка вышла. Коренастый такой. С гитарой. Играть,

правда, не умеет, но у него самоучитель есть. Научится.

— Будет и у вас моряк, — опять пошутил парень.

— Моряк... — она недоверчиво усмехнулась. — Необязательно моряк. Да я их и не уважаю. Пьют они и хвастливые.

Парень постоял еще немного и ушел в купе. Проводница, прикоснувшись руками к тому месту рамы, где недавно были его ладони, пыталась ощутить тепло. Она едва не расплакалась оттого, что рама оказалась холодной; достала карманное зеркальце, с опаской взглянула на свое отражение и робко подумала: а вдруг случится чудо, и в зеркале появится красивое лицо... Увы, чуда не случилось, и она ногтем царапала крупные веснушки, словно рассчитывала сколупнуть их...

Была она влюбчива и все ждала, что и в нее кто-нибудь влюбится из пассажиров. У нее уже была заготовлена фотография с надписью на обороте: «Кого люблю, тому дарю».

Только не выпало еще случая подарить фотографию кому-нибудь, а дарить подружкам надоело. Легкомысленная и добрая, она верила, что люди влюбляются быстро, без раздумий — вот так, в поезде, за несколько дней.

У нее болело сердце, когда она думала, что не найдет утешения в своей тоскливой жизни, что все будут беззлобно смеяться над ее веснушками, но никто не приласкает.

Парень снова вышел из купе. Проводница вспомнила, что он едет до Шумихи. Значит,

ему обратно по шпалам километров двадцать топать.

— И чего вы не спите? — спросила она.

— Вот окончил техникум, — словно не слышав вопроса, грустно произнес парень, — еду работать. Страшновато немного. С друзьями расстался, а вдруг больше хороших людей не встречу?

— Хороших людей много, — убежденно проговорила девушка. — Только всё красивых ищут. А ведь не все красивыми родились.

Парень улыбнулся и ответил:

— Ерунда. Все люди красивые в общем-то. Как полюбите, так и сами закрусивеете.

Она приняла его слова за шутку и тоже улыбнулась. Но парень не смеялся. И она поверила.

— Вот так, — глядя в темноту за вагонным окном, сказал парень.

На этом перегоне состав вел Алешка Пахов, насмешник и анекдотчик. Проводница была готова перенести любые насмешки, выслушать хоть десяток анекдотов, от которых уши горят, стерпеть и то, что Алешка рукам волю дает, только бы у Шумихи поезд шел помедленнее, чтобы парень прыгнуть мог.

Выслушав ее, Алешка проворчал:

— С ума попятилась.

Может быть, он заметил в глазах ее не просто просьбу, а мольбу; может быть, ему передалось трепетное биение ее сердца, и он сказал уже спокойнее:

— А мне потом по этому замечательному месту начальство, знаешь, как трахнет? — и Алешка показал руками сразу на два места —

на шею и ниже спины. — Тогда что? Тогда прощай мой поезд, веду в последний раз.

Проводница больше ничего не говорила, только смотрела на него. Алешка воспользовался случаем и шлепнул ее по одному из тех мест, по которому его самого могло ударить начальство. Проводница словно не заметила. И Алешка, повиснув на поручнях, крикнул:

— Не сносить тебе головы, девка!

Виноватой вернулась она в вагон. Парень спал. Девушка несколько раз прошла мимо открытой двери купе.

Стучали колеса. Летело время.

Наконец она решилась: достала фотографию и засунула ее в карман плаща, который висел у двери. Кто знает, может, когда затоскует в незнакомом поселке, найдет эту фотографию и поймет, что есть у него еще один друг? Может, и обрадуется хоть на минутку?

За час до остановки она разбудила парня и уже не сводила с него черненьких глаз-бусинок да вздрагивала, когда он посматривал на плащ.

Вагон спал.

Промелькнули огни Шумихи.

Девушка думала о том, чтобы не зареветь, когда надо будет прощаться. А парень думал о том, что трудно придется ему на новом месте.

Поезд будто ткнулся во что-то — остановился. Проводница спрыгнула на перрон, а парень стоял, не двигаясь, растерянно глядя на огоньки маленького вокзала.

— Приехали, — со вздохом выговорила девушка. — Счастливо вам.

Парень спустился по ступенькам, протянул руку, сказал:

— Спасибо.

Она решила, что он благодарит ее просто так — как пассажир проводника.

— И вам спасибо, — прошептала она.

— А мне-то за что? — недоуменно спросил парень.

— Да так... — слабым голосом отозвалась девушка. — Хорошо мне было. Вроде бы...

И он вспомнил, что дорога была не такой уж длинной; засунул руку в карман и вытащил фотографию.

— Это вам на память, — торопливо прошептала девушка. — На память. От меня.

Он задумчиво молчал, держа фотографию в руке. И девушка поняла, что не нужна она ему нисколько. Поняла это и не заплакала. Даже не обиделась.

Парень положил фотографию в карман и сказал:

— Спасибо.

И девушка проговорила:

— Спасибо.

Они еще не понимали, за что благодарят друг друга, но когда поезд тронулся с места, лицо у парня было не растерянное, а сосредоточенное...

ВОЙНА ПРОШЛА

Голосили громко, во всю силу. Ревели сидя, утираясь подолами. Стоял только однорукий Силантьев, председатель колхоза, и его коричневое лицо с выгоревшими бровями было виноватым, будто он сожалел о том, что не имеет права разреветься вот так же.

— Тише, бабы, — повторял он, — тише, дуры вы... да ладно вам... в войну не ревели, а тут... ну, хватит...

После каждой его просьбы женщины на мгновение умолкали, словно лишь для того, чтобы передохнуть, и снова начинали голосить пуще прежнего.

Лицо Силантьева из виноватого стало растерянным, потом жалобным, и, наконец, он крикнул, чтобы вытолкнуть из горла сухой комок слез:

— Хватит!

Замолчали. Только Верка судорожно всхлипывала, и сильные, раскинутые в стороны груди ее при этом подпрыгивали. Сидела она отдельно от других, ревела громче всех, жалобнее, но никто не смотрел на нее.

— Верка! — Силантьев постучал по столу ребром ладони.

Верка замолчала и лишь часто вздрагивала.

Председатель обвел притихших женщин долгим взглядом, вздохнул, погладил нашивки за ранения и сказал тонким, срывающимся голосом:

— Встретим наших героев так, чтобы... — и отвернулся к окну.

— Пусти слезу, не держи, — посоветовала Таисья, высокая, сухопарая женщина с черными, тоскливыми глазами. — Свои здесь, реви.

— Придумаешь тоже, — пробормотал Силантьев. — И вам нечего реветь. Хохотать надо.

— Дак припомнилось! — тихо воскликнула Верка. — Вот и прорвалось!

— Чья бы корова мычала... — строго начала Таисья, но председатель торжественным тоном перебил:

— Встретим наших героев так, чтобы... И огурцы там разные, и капуста, ну и, сами понимаете... Доложим им, что на колхозных полях сил своих не жалели, что чести своей не роняли, что...

Верка снова взвыла, да так жалобно, что Таисья сказала почти дружелюбно:

— Всяко, в общем, бывало, а выжили.

По домам расходились медленно, чувствуя великую потребность быть вместе, и в то же время тянуло домой, в избы, к ребятишкам.

Верка шла за Таисьей. Шли молча.

— И меня и его прибьет, — убежденно сказала Верка.

— Тебя-то надо бы, — сумрачно согласилась Таисья. — Гуляла когда, весело было, теперь бока подставляй.

— От радости я, что ли?! — крикнула Верка. — Время какое было, вспомни! И есть охота было, и страшно одной-то в пустой-то избе! Голодно! Холодно! Темно! У тебя ребята, а я одна... Со страху ведь!.. Ничего, ничего, — угрожающе продолжала она, — в лесу осин много. Выберу, которая покрепче, и... — Верка замолчала. А шла она вразвалочку, бедра ее игриво перекачивались, будто жили сами по себе. — Ванюшку жалко! — снова крикнула она.

— Его не тронет, — тихо возразила Таисья. — Тебя поколотит. Так тебя, верно, и бить-то приятно: здоровая ты.

— Ага, ага, — вся просияв, согласилась Верка, — мягкая я... Со страху ведь я, — жалобно повторила она, — не от радости. У нас в родне гулящих не было.

Таисья шла, держа руки полусогнутыми, будто приготовившись взять ношу.

— Не я тебе судья, не меня ты боишься, не меня и уговаривай, — сказала она и свернула к своей избе.

Изба добротная, перед самой войной сложенная. Чисто в ней и пусто, и тишина здесь гулкая, даже скрип половиц режет слух, пугает.

Таисья легла на широкую лавку головой к двери, чтобы не прозевать, когда прибегут ребяташки, но заснуть не могла. Ощущение голода было привычным, юна его почти не замечала, и с места ее подняло какое-то смутное, незнакомое волнение.

Она умылась, переделалась в чистое, всунула

разбитые ноги в брезентовые туфли, заходила по избе, будто искала чего-то.

Не сразу поняла Таисья, что это радость не дает ей покоя. Прав Силантьев: всю войну терпели; доведенные голодом иногда до оцепенения, жили машинально; работали, а произошла победа, и взвыли. Будто только сейчас заметили, поняли, из какой беды выкарабкались.

Война-то далеко от этих мест была. Люди здесь если и умирали, то не часто, по одному и медленно.

Не выдержала Верка, два года сытая жила. Плевали ей вслед женщины, называли не иначе, как коротким, хлестким словом. Оттого и работала Верка зло, может, и побольше других. Когда родился Ванюшка, принесли ей бесценные дары — зерно, картошку, молока выписали.

Вспомнив об этом, Таисья чуть было не заревела, но пришел Силантьев. Он ловко свернул одной рукой «козью ножку», насыпал в нее самосада. Таисья стальным бруском с кремьень выбила искру на нитяной фитиль. Председатель закурил, сказал:

— Сама, конечно, понимаешь: на фронте возле каждого смерть дежурит, ну и... разве осудишь солдата? Другое дело — ваш брат в тылу... Тут это... ну, обидно солдату, когда... Ну, вот мне хорошо, я до женской части не охотник...

— От меня-то чего тебе надо?

Силантьев поперхнулся дымом и сказал:

— Испортит нам Верка праздник.

— Я ей не защита! — сурово ответила Таисья. — Ей война на два года короче вышла, чем нам. Она...

— Правильные твои слова, — осторожно перебил Силантьев. — Только должен я тебе доложить, что война — это не только пули, пушки, да пал смертью храбрых. Ванюшка — это тоже война, тоже ранка... Ты ответь: работала Верка на совесть?

— Чего и спрашивать?

Прибежали ребятишки. Таисья умыла их, налила в миску молока, накрошила жмыха, отвернулась, чтобы не замутило.

Потом, уложив ребятишек на полати, Таисья вышла с Силантьевым из избы. С непривычки ноги от туфель болели, она сняла их.

— Понимаешь? — спросил председатель. — Ты не по-бабьему рассуждай, а...

— Не моя беда об чужом грехе заботиться, — оборвала Таисья, — мне спать пора. Во сне, может, щи увижу, похлебаю.

Она уходит в избу, раздевается, залезает на печь, ворочается на твердом ложе, ощущая каждый кирпич. Дружно посапывают ребятишки — трое сынов.

Таисья спускается по лесенке, садится к окну. Давно с ней такого не случалось: хочется молчать, слушая, как бьется сердце. Даже плечами пошевелила — до того явственно вспомнила холодок, который проник под кофточку в то утро; шли тогда со Степаном вдоль реки, а уже женатые были, под сердцем у нее двое шевелились...

С плеч холодок спустился в руки, в пальцах застрял. А тогда пальцы ломило, судорогой

сводило — это когда они с Веркой картошку у Свиного мыса собирали. Потом им в райисполкоме грамоты вручали...

Заслышав под окном шаги, Таисья спросила:

— Ты, что ли?

— Я-а-а, — заголосила в ответ Верка.

— Тише ты! — прикрикнула Таисья. — Баб разбудишь. Спят бабы-то. Умыкались... Заходи давай, потолкуем...

СЛЫШИШЬ, ДРУГ

И никого не надо, никого... Пусть все остается вот так, как сейчас: одна... идет по улице, мимо спешат люди, и никому нет до нее, обиженной, дела. Потом она вернется домой, сядет за книгу, сделает вид, что читает. Утром пойдет на работу, вечером — в школу, а на уме — все то же. Никому не расскажет она о своей беде, потому что никто не поймет.

Наташа нахмурила короткие черные брови и сжала губы: чтобы видели люди, как она страдает. Но никто из встречных не верил в ее горе, все улыбались ей.

«Черствые люди, — думала она, — жестокие или просто глупые. Понятия не имеют, как тяжела жизнь, как она отвратительно устроена... Любовь, дружба... это болтовня! Я раньше считала, дура, что любят тех, кто достоин любви. Ничего подобного! Вот я этого Димку... этого... а он с этой... противно даже смотреть!»

А солнце было большое и доброе. Оно ласково грело Наташино лицо, лучики заглядывали в ее глаза, и она недовольно хмурилась.

«Никого мне не надо, никого! — с отчаянием думала Наташа. — И Димку солнце греет, и

эту... Чем она меня лучше? Подумаешь, в хоре поет!.. Гуляют сейчас где-нибудь, и она ему напевает...»

А они шли навстречу. Димка был в новой шляпе, надвинутой на самые брови, а она — эта! — в каком-то сиреновом колпаке.

Тревожно кричали воробьи.

Сначала Наташа хотела броситься в переулок, но не шевельнулась, и лишь когда они подошли, руки ее стали нервно то поднимать, то опускать муфту, будто она старалась прикрыть себя от насмешливого взгляда Димкиной спутницы.

Он покраснел и, проходя мимо, кивнул, а Наташа сказала:

— Привет!

И чуть не расплакалась, щурила глаза, кусала губы, чтобы удержать слезы, но одна слезинка все-таки выпрыгнула на щеку, и девушка до боли растерла ее муфтой.

«Я не знаю и знать не хочу, кто она такая, — думала Наташа, — но глаза у нее глупые и противные!»

— Слышишь, друг...

Кто-то сильно толкнул ее в бок. Наташа обернулась. Перед ней стоял высоченный парень в распахнутом брезентовом плаще, под которым была застегнутая до шеи телогрейка. На густой шевелюре лежала кепочка.

— Где тут Маршрутная улица? — спросил парень.

— Не знаю, — буркнула Наташа и отвернулась, продолжая смотреть вслед Димке и его спутнице. Вот они скрылись за углом. Наташа опустила голову и увидела на мосто-

вой рядом со своей маленькой тенью длинную и через плечо сказала:

— Я не знаю, где эта улица.

— Так пойдем, поищем, — спокойно предложил парень, — ты здешняя, тебе легче. А один я заплутаюсь.

Смерив его недовольным взглядом, Наташа направилась прочь.

— Слышишь, друг! — парень догнал ее и зашагал рядом. — Мне эта улица, знаешь, как нужна? Ты ведь женского пола, должна понимать...

— У тебя здесь всё в порядке? — раздраженно спросила девушка и постучала пальцем по лбу.

— Времени у меня всего четыре часа, — будто не расслышав обидного вопроса, продолжал парень, — и надо мне эту улицу разыскать... Слышишь, друг, помоги. А?

Наташа остановилась, невольно вдумываясь в слова, произнесенные спокойным, негромким голосом.

— Пошли, — неожиданно для самой себя согласилась она, когда парень замолчал; и через несколько шагов спросила: — К родным приехал?

— И сам не знаю, к кому приехал... А ты почему ревела?

— Я? — Наташа смутилась. — И не... а ты как заметил?

— Привычка. Сам иногда слезы лью.

Это было уже интересно, и Наташа сказала:

— А ты чужак. Подошел к незнакомому человеку, сразу на «ты»...

— Привычка.

— А если бы я отказалась?

Парень отрицательно покачал головой. Он шагал, засунув руки в карманы плаща, не глядя на Наташу. Лицо у него было большое и некрасивое, но очень доброе. Шагал он широко, а неслышно. И девушке нестерпимо захотелось узнать, кто он такой и почему ищет Маршрутную улицу.

— Слышишь... — позвала она, — а почему...

— Любопытная ты, — перебил парень, — могу рассказать. Бросила меня моя зазноба, убежала к другому. И смотрел я им вслед, и слезки капали. И вот приехал узнать, каким образом они живут, чем питаются, часто ли в кино ходят, — легко, без волнения говорил он, а в глазах — грусть.

— Не надо, — попросила Наташа, — не надо так. Ведь больно тебе, а ты смеешься.

— Ага. Смеюсь. Потому что всерьез об этом рассказывать — все равно, что кипятик пить.

— Она тебя любит?

Парень отрицательно покачал головой.

— Ты что, надеешься, что они плохо живут? Да? — запальчиво спросила Наташа.

Парень кивнул.

— Но это же... — Наташа осеклась, вспомнив Димку и его спутницу. — Это же нехорошо!

Парень пожал плечами, но кивнул.

— Вот видишь, — удовлетворенно произнесла девушка. — А зачем ты приехал? А вдруг они очень счастливы? Ведь им неприятно будет видеть тебя! — говорила она, думая о себе, Димке и его новой знакомой. — Откуда ты взял, что твоя любовь ей нужнее?

А, может, ее муж во сто раз лучше тебя? Почему же ты...

— Ладно, ладно! — оборвал парень, но сразу же притих, опустив плечи. — А если я без нее жить не могу?

— А если она без него жить не может?

— А если мне больше никого не надо?

— А если ей больше никого не надо?

— Тогда как? — почти крикнул парень. — Так вот и... А?

— Не знаю.

Наташа шла в двух шагах от парня, потому что он топал прямо по лужам. Со стороны можно было подумать, что девушка о чем-то упрасивает его, а он не соглашается.

— Значит, что? — резко остановившись, спросил парень. — Что? — Он смотрел на нее в упор, будто готовый обругать или ударить.

— Откуда я знаю? — виновато отозвалась Наташа. — Вот Маршрутная улица. Иди.

Парень исподлобья глянул вперед и закусил толстую губу. Он стоял в луже, сапогами в отразившемся на ее поверхности солнце, увидел это и осторожно вышел на асфальт.

Солнце еще долго плескалось...

— Почему ты думаешь, что мы лучше их? — тихо спросила Наташа. — У меня, например, голоса нет, а она в хоре поет. А тот... ну, муж ее, он...

— Он в домино здорово играет.

Наташа и парень долго смотрели на Маршрутную улицу и двинулись обратно.

Весело кричали воробьи.

ЧУЖОЕ ГОРЕ

Никита отправился в дорогу еще при луне, надеясь с рассветом сесть на попутную машину.

Есть в ночной тишине полей что-то торжественное. Дорога вела через эту тишину.

Увлеченный ходьбой, Никита не заметил, как начало светать.

Чудесен воздух раннего утра. Прохладный, чуть влажный, он пропитан и запахом хвои, прилетевшим из дальнего леса, и густым ароматом пшеничного поля, и другими запахами, которые сливаются в один — воздух раннего утра.

Никита остановился возле ключика; мылся так остервенело, что устал.

Зной уже давал себя знать. Никита часто оглядывался, чтобы не прозевать автомашины. Он бы присел отдохнуть, но тревога гнала его вперед.

Солнце поднималось все выше и выше, а ни одна машина не обогнала Никиту. Лучи, казалось, прокалывали кожу и там, внутри, жгли.

Проходя мимо прудов и речушек, он отворачивался. Он подсчитал, что может и пешком

к ночи добраться до города, поэтому решил не отдыхать.

К полудню солнце настолько пропекло землю, что босым ногам было больно. В легкие при дыхании попадал не воздух, а зной. Склонились травы, потемневшая листва не шевелилась. Голубизна неба, золото колосьев резали глаза. Чудилось: одно дуновение ветерка, и посыплется, звеня, на землю спелое зерно.

Ныли икры и пятки, ломило напеченный солнцем затылок. Ноги сами сворачивали в тень, но Никита шел прямо. Он проходил деревню за деревней.

То и дело мимо проносились встречные машины, а обогнала только запыленная «Победа».

Впереди показалось большое село.

Через него Никита брел, стараясь быть ближе к заборам и избам — в тени. У околицы лежали, разомлев от жары, крутобокие овцы.

— Сколько до города? — поддельно бодрым голосом спросил Никита встречного старика.

— Да верст сорок, а то и боле.

У парня подкосились ноги; охватило уныние, бороться с которым труднее, чем с усталостью. Подумалось, что до города все равно не дойти, что по дороге встретится широченная река без моста, что жена... а вдруг уже сын или дочь?!

Никита ускорил шаги.

В следующей деревне у околицы сидели на чемоданах несколько человек — караулили попутные машины.

— Сколько до города? — спросил Никита.

— Километров сорок, — ответили ему, — а то и больше.

Парень постоял, оттолкнулся от изгороди и пошел дальше. Впереди по дороге колыхалась его длинная тень.

Перед тем, как склониться к горизонту, солнце пекло из всех сил. Уходило на покой светило, над землей плыла прохлада. Ногам еще было жарко от нагретой за день почвы, а в воздухе уже веяло свежестью.

Внезапно в повисшей над полями прохладе Никита уловил ветерок — будто в воздух попала струя из ледника. Он взглянул на небо и поежился: из дальних-дальних сизых туч свисали изогнутые полосы дождя. У горизонта одна за другой полыхнуло несколько зарниц.

Стало холодно. Никита на всякий случай закатал штаны выше колен.

Пророкотал злой раскатистый гром.

Впереди Никита рассмотрел чью-то фигуру — вроде бы человек.

А гром уже ворчал над головой. Никита побежал, напряженно вглядываясь в темноту. Ботинки, висевшие на шнурках через плечо, больно били по спине и по груди, но не хватало сил придержать их.

— Эй! — крикнул Никита. — Обожди, друг!

Человек остановился. Никита подбежал. Лицом к нему, уперев руки в широкие бока, расставив ноги в кирзовых сапогах, стояла высокая полная женщина. Даже в темноте было видно, как блестят ее большие глаза.

— Случайно, не в город, гражданочка? — спросил Никита.

Женщина ответила тихо:

— В город, гражданин, да только не случайно.

— Возьмете меня в компанию?

— Дорога широкая. Места хватит. Откуда идешь?

Никита гордо произнес название деревни, где размещалась геологическая партия, в которой он работал. Он был уверен, что попутчица изумится. Но она ничего не сказала.

— Пешком ведь, — обиженно добавил Никита.

Она кивнула.

— И не ел ничего!

Женщина, не глядя на него, непонятно откуда вытащила бумажный сверток и протянула Никите. От неожиданности он шагнул в сторону. Женщина сказала сердито:

— Бери, когда дают.

Никита впился зубами в пышную шаньгу. Заболели от усилий скулы. Он жевал торопливо, давился, глотая большие куски.

— Жуй, — коротко приказала женщина и, убедившись, что парень послушался, спокойно заметила: — Сейчас польет.

Высоко задрав платье, так, что мелькнули белые ноги, она села и попросила:

— Стяни-ко сапоги.

Наскоро прожевав последний кусок, Никита машинально сунул в карман бумагу и помог женщине снять сапоги. Она встала, взяла сапоги за ушки в одну руку и пошла.

Хлынул дождь. Женщина в мгновение про-

мокла насквозь. Платье облепило ее широкую спину. Шла женщина спокойно, словно никакого дождя и не было.

— Шибко пристал? — через плечо спросила она.

— Ага, — отозвался Никита, которому после еды идти стало еще тяжелее. — А вы знаете, зачем я в город?

— По делу, видать.

Ливень шумел. Временами раздавался гром, и чтобы слышать друг друга, приходилось кричать.

— К жене иду на свидание!

И опять женщина не ответила.

— Очень хочется повидать ее! — обиженно добавил Никита. — Ребенка она ждет!

И на это попутчица ничего не сказала.

— Плохо нынче детей иметь, — продолжал Никита, — комнатка у нас махонькая...

— А у нас дом большой... с огородом, с баней... Идем-ко быстрее, а то озябнем, — предложила женщина. — Близо уже. Верст пять, не больше.

— Дом — это хорошо! — крикнул Никита. — Благодать! А я...

— А я к мужу иду. К утру его повидать да обратно. Не отпускают часто-то. Делов много в колхозе. Вчерась вот отпросилась. Ну, просто сил моих нет, так своего мужика повидать охота.

— Он в городе живет?

— Живет... в городе... на Луначарской улице. Рак, говорят... Может, и правда! — сквозь гром крикнула она. — Кто их, врачей, разберет! Одно лечат, другое калечат! Отдали бы

мне его, я бы выходила... А чего они больницы в городе строят? Вот тут бы над рекой выстроили или подальше, в лесу. Человека воздухом лечить надо. И чтоб кругом здоровые были. А в больнице? Тут и здоровый за-неможет... Отдали бы мне его...

Никита растерянно спросил:

— Может, вам в городе остановиться негде?

— А чего останавливаться-то? Утра дождусь, на него погляжу и обратно.

Дождь утих, и сразу наступила тишина, такая тишина, что Никите показалось, будто он оглох. Потом он услышал, как журчит в канаве вода и шелестят мокрые листья деревьев.

Никита с женщиной шли по чахлому при вокзальному скверiku. Она рассказывала:

— Три года прожили, двоих родила. Здоровый совсем был, ничего незаметно, и вдруг раз — согнуло. Увезли в город, да так и лежит... Улыбнется мне, кровь моя стынет, будто я льду наглоталась... Пока буду улыбки ему делать, не помрет. Верит он мне... Хоть бы кровь перелили или еще что придумали...

Она села на скамейку, скрутила подол, выжала, медленно сняла с головы платок, выпустила густые волосы.

Никите хотелось сказать на прощанье что-нибудь утешительное, и он пробормотал:

— В общем, не волнуйтесь. Вылечат. Я знаю.

Женщина равнодушно кивнула, не взглянув на него. Ее словно нисколько не беспокоило, что она промокла, что впереди бессонная ночь.

— Будь здоров, попутчик, — сказала она, — будет у тебя дом, не горюй.

Выйдя из скверика, Никита бросился бежать, и, когда поднимался по лестнице на второй этаж, ноги чуть подкашивались. Он прислонился к стене, отдышался и постучал.

— Кто тут шумит? — раздался за его спиной голос старушки-соседки. — Откуда ты взялся?

— Оттуда, — Никита ткнул пальцем в пространство. — Где она?

— В больнице. Сын у нее родился.

— Сын?! — испуганно переспросил Никита. — Какой сын?

— Уж не знаю, какой, — кокетливо ответила соседка. — Твой, верно.

Никита вошел в комнату, толкнул створки окна, лег грудью на подоконник и заснул в этой неудобной позе.

И увидел сон. Идет к нему прямо по крышам женщина в мокром платье, в руках — сапоги. Хочет Никита убежать, а не может, ноги не шевелятся. Женщина протягивает ему сапоги, говорит ласково:

— Носи, счастливый человек. Радуйся. Завтра я тебе дом принесу. Хороший у нас с мужиком дом. Бери, живи.

— Да у меня и денег-то нет, — бормочет Никита, — зарплата у меня...

— Не надо нам денег. Даром бери... Огород у нас еще есть, баня — принести?

Из глаз женщины брызнули слезы, дождем застучали по крыше.

...Проснулся Никита — грудь болит, еле оторвался от подоконника, вышел на кухню.

— Как жить-то будете? — спросила соседка. — Ведь и повернуться негде.

— А мы не будем поворачиваться, — весело ответил Никита, — сядем рядком и будем жить ладком.

КОСТЕР НА ТОМ БЕРЕГУ

Они сидели в двух шагах друг от друга, пока не остыли угли.

— Успеем на последний / автобус? — тихо спросила женщина.

— Успеем, — беззвучно, одними губами ответил ее спутник, и когда она поднялась, спросил: — А мы не будем жалеть об этом?

— Не знаю... не знаю... не знаю... — несколько раз повторила она.

И вот дома на старой кушетке, пружины которой давно пришли в негодность и звенели, казалось, даже от движения воздуха, она слушала дождь. Звонко, насмешливо, дерзко стучали капли по стеклам.

А она вспоминала и вспоминала без конца весь сегодняшний день. Все произошло именно так, как и должно было произойти, именно так, как она хотела. Но она до сих пор не знала, права ли она.

Сколько лет скучать ей одной в своей маленькой комнатушке, прислушиваясь к дождю или метели, к шагам в коридоре, к раздражающим звукам общей кухни? Одно и то же каждый день, каждый вечер, каждую ночь.

Дождь не унимался. От окна веяло холодной сыростью. Женщина сняла туфли и поджала ноги. Каждое движение сопровождалось звоном пружин. Она едва не расплакалась от пустоты и одиночества, будто только сейчас, впервые ощутила их, будто только сейчас, впервые ей стало ясно, что она одна, совсем одна. И что толку в ее красоте, что толку в том, что любима и любит...

Она заплакала не сдерживаясь. Плакала все громче и громче, словно рыданиями хотела заглушить шум дождя. Но дождь плакал сильнее.

Женщина замерзла. До халата, висевшего на стене, было рукой подать. Женщина не двигалась. Она знала, что если сделает хотя бы одно движение, то встанет и пойдет к нему, которого любит; пойдет потому, что тридцать четвертый — это не двадцать пять и даже не тридцать...

Два года прошло со дня их знакомства. Год они изредка встречаются украдкой от всех.

При первой встрече ее поразило его лицо — острые выступы скул, на которых кожа покраснела; нахмуренные тонкие брови и усталый покорный взгляд серых глаз.

Покорность проглядывала и в тихом голосе и в неслышной походке.

Сначала женщина старалась не замечать его, но потом пожалела, захотела чем-нибудь помочь.

Однажды она вышла из заводууправления, где помещалось конструкторское бюро, в котором он работал, и чуть не столкнулась с ним в подъезде. Он стоял к ней спиной и ку-

рил. Ей подумалось, что он, должно быть, очень несчастен и поэтому не спешит домой.

Не обрадовалась она, когда почувствовала, что приближается любовь.

Она привыкла к одиночеству, к скромному образу жизни, в котором все было до мелочей знакомым — вот как эта старая кушетка или чертежный стол, за которым женщина снимала бесконечные копии.

Наградив ее красотой и умом, судьба дала ей замкнутый характер и строгие чувства.

И полюбив, уверившись в своем чувстве, женщина решила, что добьется счастья какой угодно ценой. Нельзя и некогда рассуждать!

Она сказала:

— Я люблю вас.

Он не ответил. Закурил.

— Я люблю вас, — повторила она, удивляясь своей смелости.

Он молчал, и она в третий раз проговорила:

— Я люблю вас.

— У меня двое детей, — ответил он, — вы знаете об этом.

— Какое мне дело! — с возмущением, с ненавистью даже сказала она. — Будь у вас хоть сто жен и тысяча детей... — и замолчала, почувствовав неправду своих слов. — Я люблю вас, — беспомощным голосом вновь повторила она, и слова эти вдруг поблекли, стали бессмысленными, ненужными.

— Я тоже люблю вас, — громко сказал он, — никого я не любил так...

— Хотите чаю? — перебила она, кусая губы. — Будем пить чай. Да, да, приходите ко мне каждый вечер пить чай... Двое детей...

— Да.

— Нет, мы не будем пить чай вместе, — резко проговорила она. — Я буду пить одна, а вы с этой...

Когда он попытался обнять ее, женщина попросила:

— Не надо. Я не могу так.

Много сил затратила она на то, чтобы доказать ему, что не имеет права разбивать семью, что... И сама не верила правде своих доводов.

Сердце ныло.

Женщина спросила однажды:

— Она хорошая?

— Да.

— Любит тебя?

— Да.

По голосу его она поняла, что все зависит от нее самой. Будет так, как она решит. Скажет — и он бросит семью.

Однако сама она не сделала ни одного шага к счастью.

А он сказал в субботу:

— Завтра вечером приезжай на озеро. Там, на другом берегу, я буду ждать тебя.

И словно в одно мгновение женщина заметила, как изменился он; покорность исчезла из его облика без следа, даже походка у него стала другой — стремительной, порывистой, дерзок он стал и в работе, его конструкторские предложения вызывали много споров.

Утром в воскресенье она решила, что никуда не поедет. Уж лучше привычное одиночество, неутоленность желаний, чем ворованная любовь.

Днем она уже напевала, мечтая о встрече. Ей хотелось быть грешной, отторгнутой всеми, кроме него.

В автобусе женщина боялась поднять голову — ей казалось, что все смотрят на нее с брезгливостью. И она не могла понять, кто прав: она, наконец-то добравшаяся до счастья, или они, кто, конечно, осудит ее?

Темное озеро лежало у ног женщины, а на том берегу веселыми языками пламени плясал костер.

Женщина шла медленно, осторожно. «До счастья было не больше ста шагов», — насмешливо подумала она.

Он не видел ее, остановившуюся невдалеке, там, докуда не долетал свет костра. Женщина приблизилась, и тепло обдало ее с головы до ног.

— Я пришла, — сказала она.

Костер разгорелся еще сильнее. А ей стало холодно. Она протянула руки к огню.

В костре щелкнуло, из пламени вылетел уголек и упал в раскрытую ладонь.

Женщина неторопливым движением, словно наслаждаясь болью, сжала руку в кулак.

— Десять лет назад, — с усилием сказала она, — от меня ушел муж... вот так же...

Медленно гас костер. Края его уже подернулись пеплом. Робкое пламя сопротивлялось темноте.

— Уйти?... А мы не будем жалеть об этом? — спросил мужчина и палкой разворошил угли.

Снова, теперь уже ненадолго, вспыхнуло пламя.

Они сидели в двух шагах друг от друга, пока не остыли угли..

— Успеем еще на последний автобус? — тихо спросила женщина.

— Успеем, — беззвучно, одними губами ответил ее спутник и, когда она поднялась, спросил: — А мы не будем жалеть об этом?

— Не знаю... не знаю... не знаю... — несколько раз повторила она.

И вот сидит дома на старой кушетке и слушает, как за окном откровенно плачет большой дождь.

ЧИСТОЕ ТЕЛО

Николай пришел в баню после ночной смены, злой, усталый, грязный.

В соседнем номере мылись девушки. Они хохотали, повизгивали, звонко шлепали друг друга.

«Вот дуры, — подумал Николай, — на мороз бы вас ночью, трубы ворочать, не орали бы».

— Ой, не надо! Ой, не надо! — раздалось за стеной. — Ой, холодно!

Николай лег в ванну, и теплая вода, казалось, проникла под кожу, разлилась там...

А девушки за стеной расшалились. Их было, по-видимому, трое. Николаю представилось, что они легкие, загорелые, какие-то не такие, какими бывают обычно, и, наверное, очень красивые. Во всем, что он сейчас ощущал, было что-то удивительное, таинственное — будто он слышал сон.

Внезапно Николаю стало грустно. Тело его, мускулистое, поджарое, с темноватой кожей, показалось ему некрасивым, неприятным.

Вспомнил ночь, поежился... Работа у него грязная, должность — верховой, это на высоте метров тридцать, продувает со всех сторон, а

одеваться приходится легко, чтобы двигаться ловко... Свищет ветер, разрезаясь о металлический скелет нефтяной вышки, прижимает Николая к деревянной загородке, а то вдруг как шуганет в сторону!

Тоже ведь судьба: окончил восемь классов, начал девятый, до института совсем немного осталось, но заболела мать, слегла, и пришлось думать о том, на какие деньги жить. С горя не стал выбирать, нанялся рабочим, потом учился на курсах, получил повышение в прямом и переносном смысле — стал верховым. Деньги, правда, немаленькие, однако не даровые, трудные.

Вернется Николай с вахты, глянет мать на его спецовку и запричитает:

— Скоро ли выбросишь ее, Коленька? Стыдно, поди, на людях таким ходить? Хоть бы счетоводом, что ли, или инспектором каким-нибудь...

Стыдиться Николаю не приходится: поселок рабочий, нефтяной, а нефть, известно, в земле. Но завидно бывает на чистеньких смотреть.

За стеной опять послышалась возня и повизгивание. Опять они расшалились, опять раздурчились.

Николай вскинул голову вверх, и по плечам быстро прополз морозец — в стене, под самым потолком было большое отверстие, через которое проходили две тонкие трубы.

Неодолимая, дерзкая, испугавшая его самого сила забила в нем, и разум не сдерживал ее. Будто кто-то шептал Николаю, но не в ухо, а прямо вовнутрь его, в мускулы:

— Посмотри... посмотри...

А они за стеной, словно нарочно поддразнивая, хохотали и толкались с таким азартом, что Николай будто слышал, как поют их тела под шлепками.

Взволнованный и в то же время холодно сосредоточенный, смотрел он на отверстие в стене, прикидывая, куда можно поставить ногу, за что ухватиться.

— Полюбить, девчата, охота, — услышал он, — замуж ведь пора... — и звонкий, прямо в него направленный смех.

Ворчала в трубах вода, где-то падали капли. Нежно думал Николай, что хорошо бы сейчас невидимкой оказаться там, среди них, просто бы посмотреть и чуть-чуть прикоснуться, узнать, из чего они сделаны.

— А парни иной раз больно нахальные бывают.

— А то наоборот.

— А я вам скажу...

Зашуршал душ. Николай вздохнул. Не разберешь их. Пробовал он с одной из конторы гулять, ребята научили, как действовать надо, — по щекам отхлестала. Другой, лебедице из электроразведки, все про книги рассказывал, ближе, чем на полметра не подходил, — на смех его подняла, безруким обозвала... Ну их всех, без них проживем. Разворошат душу, взбаламутят, а толку?

И трубы он больше ворочать не станет. Выдумали тоже! К буровой подъезд дождями размыло, и нет, чтоб трактор обождать! «Поднатужимся, ребятушки!» Не мое дело — чужую работу работать.

Николай очнулся от тишины. Прислушался — за стеной никого уже не было. Эх! Хоть бы на улице на них посмотреть, какие они! Прозевал, балбес... Он начал торопливо одеваться, но белье с трудом налезало на мокрое тело. Прикосновения спецовки коробили.

Он выскочил в коридор. Старушка-банщица удивилась:

— Уже? Да ты, милый, и двадцать минут не шоркался! Али чистый приходил?

— Чистый, — буркнул Николай и прошел в буфет. У стойки трое девушек в одинаковых новых телогрейках пили газированную воду. Они были румяные и усталые.

Николай до того пристально разглядывал их, что девушки прыснули и отвернулись.

— Пива! Кружку! — громко попросил Николай, хотя не любил его.

— Нету, — зевнув, ответила буфетчица.

— Тогда этой... ну, газировки!

— Стакан?

— Кружку!

Девушки посмотрели на него, прыснули, о чем-то пошептались и дружно стукнули стаканами о стойку. Николай проводил их грустным взглядом, отпил глоток невкусной воды и побрел домой.

Как всегда бывает после бессонной ночи, голова тяжело гудела. Но об отдыхе и подумать было нельзя — обед, полы, небольшая стирка.

— Женился бы, — с жалостью повторяла мать. — Сколько девчат кругом... Вон в сберкассе какие культурные работают. И у денег завсегда.

Только в середине дня Николай повалился на кровать и — будто нырнул в сон, глубоко, глубоко...

Вынырнул, слышит голос матери:

— Коля, а, Коленька!

Открыв глаза, он подумал, что ведь здорово пришлось вчера повозиться с этими треклятыми трубами.

Приятно было натягивать на чистое отдохнувшее тело брезентовую спецовку.

Он вспомнил о девушках и рассмеялся.

Дорога на буровую шла лесом. Идти было весело, хотя твердые выпуклости замерзшей грязи больно ощущались сквозь подошвы резиновых сапог.

Ветер приносил резкий запах свежей, только что вырвавшейся из земли нефти. Николай ловил его так старательно, что чуть закружилась голова.

В нем билось светлое утреннее настроение, словно где-то рядом, совсем близко смеялись и дразнили его эти девушки...

САМОЕ ДЛИННОЕ МГНОВЕНИЕ

Он редко думал о смерти, но когда мысль о ней все-таки приходила в голову, желал только одного: не умереть бы весной. Ведь в эту пору к нему неизменно возвращались силы, он будто молодел и чувствовал биение жизни даже в кончиках пальцев своих огромных натруженных рук, прошитых темно-синими венами.

Удивительные это были руки: некрасивые, даже нелепые размерами и формой, они вдруг обретали неожиданную красоту и даже изящество, стоило им к чему-нибудь прикоснуться, потому что к любой вещи, к любому малому предмету руки эти относились с нежностью и уважением, которое знакомо лишь тем, кто на своем веку много души вложил в созидание вещей. Труд сделал его руки некрасивыми в момент покоя, труд преображал их, когда они делали дело.

И как раз весной-то он и вспоминал о смерти, вспоминал без страха, не веря, что перестанет дышать, что уйдет куда-то из этого неуютного, суматошного, очень ему дорогого мира; не верил, потому что врос в этот мир

подобно глубокому корню... Ну, а если на то и пошло, лишь бы не весной!

А умер он весной.

Проснувшись по привычке рано, он сразу подивился бодрости, которой была пропитана каждая частичка его громоздкого тела, подошел к окну и толкнул створки.

Холодный, пронзительный аромат черемухи ворвался в комнату.

— Закрой окно, — сонно прошептала жена, — чего тебе не спится?

Он протянул руку и почувствовал, что ему не хватает воздуха, покачнулся.

Подкрался ветер, шире распахнул окно.

А он еще дышал, еще думал, еще жил, а сердце уже не двигалось. С обидой решил: сейчас, вот сейчас он умрет.

Но — длинным, бесконечным было мгновение перед смертью, и в это мгновение он вспомнил многое и многому удивился.

Вчера шел с завода, и захотелось ему купить жене букетик цветов.

— Два рубля, — сказала подслеповатая старушка.

— Рубль, — сердито предложил он, — везде по рублю продают.

— Два, — упрямилась старушка.

Не денег ему было жалко, просто обидела несправедливость. Не купил цветов, расстроился, чуть не обозвал старушку спекулянткой. Чтобы утешить себя, взял он в киоске бутылку портвейна, который по сравнению с водкой считал напитком вредным.

Родные не дали выпить, отобрали бутылку, долго бранили. Он чертыхнулся, ушел на кух-

ню, вбил гвоздь для посудного полотенца и сразу успокоился. До поздней ночи ходил он по квартире и делал маленькие дела: собрал старые калоши и сложил их в ящик, смазал керосином дверные шарниры, чтобы не скрипели, песком вычистил таз под умывальником, золой протер ножи и вилки. Каждое движение доставляло ему удовольствие, казалось необычайно важным.

Спать не хотелось. Он тщательно обмел пыль с приемника, купленного неделю назад. Смешно получилось: ушел в магазин за зимним пальто, а вернулся с приемником. Сначала родные дружно бранили его за неразумную покупку, но почти до утра слушали передачи.

Сейчас, в последнее мгновение, он пожалел, что не купил приемника раньше. Вообще, не умел он жить! Так и не добился благоустроенной квартиры, так и не собрался съездить в санаторий, все откладывал да откладывал, не навестил брата, не... не... не... Даже не ухитрился вчера выпить рюмку, не поставил перед женой букетик цветов!

Многого он не сделал. И чувствуя, как в него входит смерть, жалел о несделанном. Маленькой показалась жизнь, короткой.

Уже родные сбежались на крик жены, увидевшей его смерть, а он все еще жил, все еще длилось последнее мгновение.

Смеялась за окном лукавая весна, дышала устало и страстно, как молодая женщина, что вынырнула из ледяной воды и раскинулась под солнцем.

И он вспомнил девушку, ту, которая первой познакомила его с ласками, подарила все, что

имела... Остановил он разгоряченного боем коня около санитарной повозки, где всегда была эта девушка, а тут ее не оказалось. Больше он ее и не встретил, потому что к вечеру бросила его наземь пуля.

Вспомнил, как в далекой азиатской деревне, где между небом и землей — в пустыне — вылавливал басмачей, встретил свою будущую жену, как год не трогал ее. А зачем? Год, значит, отнял у радости.

Двоих сыновей своих вспомнил, но не живых, не людей, а бумажки похоронные о их смерти на поле боя.

Вдруг он с облегчением подумал, что умирает не впервые, ведь в сорок третьем году умирал — грохнулся на пол рядом со станком. Тогда вот так же холодно дышала у самого лица смерть, вот так же сбежались люди...

Черемуха за окном расплылась радужными пятнами. Он еще жил. Трудно было смерти сразу завладеть им!

Не собирался он умирать. Вчера, лежа в постели, рассказывал жене о своих планах. Во-первых, к осени уйдет на пенсию, во-вторых, начнет лечиться. Жена молчала, потому что слышала это в сотый раз.

Хорошо, что не ушел на пенсию, хорошо, что купил приемник. Хорошо, что дрался с беляками и басмачами. Хорошо, что в сорок третьем грохнулся на пол рядом со станком... хорошо... хорошо... хорошо... Длинной, затерявшей начало в дали годов, представилась ему жизнь. Было в ней столько событий, встреч, разлук, горя, радости, праздников, врагов, друзей, ви-

на, метелей, солнца, — что все это слилось в одно радостное ощущение бесконечности.

И не смерть холодила руки, а живой холод металла чувствовали они. И мертвые пальцы чутко зашевелились, привычно трогая знакомую поверхность какой-то огромной детали...

Жалко ему стало родных и близких, которые в непонятном для него страхе суетились вокруг. Что с ними? Чего боятся? Нет смерти, не бывает ее, не страшна она, ну, вот несколько, потому что не верит он в нее.

«Живем, живем», — радостно подумал он и умер, так и не успев поверить в смерть.

Лежал он, и удивительные руки его, словно живые, покоились на груди, красивые человеческие руки, готовые в любой момент вздрогнуть и начать делать дело...



ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

ПОЧЕМУ ПЛАКАЛА ДЕВОЧКА

Эту комнату мы называли кабинетом, хотя на самом деле она была обыкновенным чуланом. В нем стоял тонконогий столик, тумбочка и стул. На столике сверкала консервная банка-пепельница, рядом — стопка фотографий, придавленная большой галькой. К краю стола была привинчена кофейная мельница. Вот, пожалуй, и все, если не считать пузырька с чернилами, ручки и томика рассказов Паустовского.

Я говорю об этом так подробно потому, что кабинет-чулан и еще одна комнатка с крошечным балкончиком в доме на берегу Камы, среди сосен, берез и огородов — это счастье.

Мы приехали сюда из душного пыльного города, вырвались из круговорота заседаний, собраний и совещаний и задышали свежим воздухом.

Вечером, расставив вещи, мы налили в чашки рислинга, охлажденного в ключевой воде, чокнулись, выпили за то, чтобы всем жилось хорошо, и сразу опьянели. Опьянели и запели веселые песни. И хотя Ленька пил не рислинг,

а простоквашу, он все равно вроде бы опьянел и пел песни вместе с нами.

Спать мы легли рано.

Утром, едва проснувшись, я вскочил, открыл окно и вылез на крышу. Стоял под колючим ветерком, смотрел вокруг и думал. До чего же глупо мы живем, думал я, крутимся с утра до вечера, копошимся, ссоримся, куда-то торопимся, к отпуску дуреим настолько, что первую неделю отдыха ничего не замечаем, не верим, например, что можно целый день проваляться с книгой в руках. Зимой мечтаем о юге, портим себе настроение, вымаливая у профкома путевку. А вот уехал сюда, всего за пятнадцать километров от города, и — какая благодать!

Через час мы сидели на балкончике и завтракали.

— Рыбачить пойдем? — спросил меня Ленка.

— Никаких рыбалок, — сказала мама Надя, — идите лучше в лес.

Лицо у Ленки стало грустным. Он проговорил:

— Смешно. В лес. Лучше рыбачить.

— А если утонете?

Тонуть мы и не собирались, а поэтому обиделись на такие слова. До того обиделись, что есть перестали.

— Идите лучше в лес, — повторила мама Надя, — грибов принесете или ягод.

— Мы рыбачить хотим, — жалобно сказал Ленка, — отпусти нас рыбачить.

— А если утонете? — снова спросила мама Надя.

Тут мы расхохотались. За кого она нас принимает? И зачем это мы тонуть будем?

— Если вы пойдете на рыбалку, — обиженно и строго произнесла мама Надя, — я буду волноваться. Вы хотите, чтобы я волновалась?

Мы совсем не хотели, чтобы она волновалась, но еще больше нам хотелось вытащить из воды несколько ершиков.

— Вы плохие люди, — сказала мама Надя, — вы думаете только о себе. Только бы вам было хорошо. Да?

— Нет, — ответил я.

— Нет, — повторил Ленька.

— Неужели ты не хочешь ухи? — спросил я. — Мы поймаем много ершиков и сварим такую уху, что ты пальчики оближешь.

— Десять пальчиков, — добавил Ленька. — Мы будем сидеть на дебаркадере и ловить рыбу. Для чего нам тонуть?

Разговор закончился тем, что мама Надя махнула на нас рукой и уехала в город за продуктами.

Мы отправились на рыбалку. Я нес удочки, а Ленька червей в спичечной коробке. И хотя мне было тогда двадцать восемь лет, а Леньке пять-шестой, настроение у нас было одинаковое — замечательное.

Шли мы босиком, и теплый песок приятно щекотал нам подошвы.

Через несколько шагов мы увидели, что на скамейке у забора сидит маленькая девочка в красных трусиках. Худенькие плечики ее вздрагивали. Она плакала, держась за лицо руками.

— Плачет, — насмешливо шепнул мне Ленька, — вот рёва!

Девочка подняла на нас заплаканное лицо. Мы остановились.

Ленька показал ей язык.

Девочка снова всхлипнула, снова схватилась за лицо руками. Чего это она? Кругом такая благодать, а она плачет, глупая!

— Смешно, — шепнул мне Ленька.

Девочка не обращала на нас никакого внимания, плакала и плакала. Сначала нам стало жаль ее, а потом мы подумали, что жалеть ее нечего. Куклу, наверное, потеряла или обозвал ее кто-нибудь как-нибудь, а она реветь.

Я посадил Леньку на плечи, и мы стали спускаться вниз по крутому берегу. Гальки больно впивались мне в пятки.

Из-под берега бежали леденящие ключики. Мы быстренько пропрыгали по холодной земле и по шатким доскам поднялись на дебаркадер.

Закинули удочки и сидим, важные, гордые; нам кажется, что темно-зеленая вода так и кишит ершами. Они ходят огромными стаями и сейчас как набросятся на наших червяков...

Не клевало.

— Чего это она плакала? — спросил Ленька.

— Не знаю, — ответил я. — Жалко?

— Немного.

Мы переменили червяков, поплевали на них, снова забросили удочки. Наверное, в Каме было много-много рыбы, но ни одна не желала, чтобы мы сварили из нее уху.

— Может, ее настукал кто-нибудь? — спросил Ленька.

— Бывают такие, — согласился я.

Мы снова переменили червяков. Снова забросили удочки.

Не клевало.

И стало нам грустно, до того грустно, что мы взглянули на берег, туда, где сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

— Может, ее умывать заставляли, а она не любит умываться? — спросил Ленька. — Помнишь, я в детстве такой был?

— А может, у нее зубы болят? — спросил я.

Мы смотрели на неподвижные удилища и вспоминали маму Надю. Она, как всегда, оказалась права. Не надо нам было идти на рыбалку, ничего из этого не получилось. Уж если мама Надя против чего-нибудь, лучше согласйся, иначе будет у тебя неудача.

— Посмотрим на нее? — предложил Ленька.

Мы смотали удочки, высыпали червяков в Каму и поднялись вверх по берегу.

Девочки на скамейке не было.

— Ушла, — сказал я, — успокоилась и ушла. Играет сейчас.

— А вдруг все еще плачет?

Долго мы сидели на скамейке, раздумывая над тем, почему же плакала девочка и где она сейчас, плачет или нет.

Придя домой, мы старались не смотреть друг другу в глаза. Стыдно было. Маму Надю не послушались — раз, ни одного ерша не поймали — два и девочка — три.

Потом мы сварили картошку, надергали в огороде луку и сели обедать.

— Девчонки всегда плачут, — сказал Ленька, — бабушка говорит, что у них глаза на мокром месте.

— Какое нам дело да каждой рёвы, — ответил я. — Она, может, по сто раз в день плачет.

Решили поспать. Вынесли на балкончик матрац, подушки и легли. Несколько раз мне показалось, что я засыпаю. Но стоило мне обрадоваться тому, что сон пришел, как глаза мои открывались.

— И чего я про нее думаю? — спросил Ленька.

Мы встали, и каждый занялся своим делом. Я читал, Ленька пускал корабль в бочке с водой. А в общем, было нам грустновато.

Ничего, скоро вернется из города мама Надя, и нам сразу станет весело. Привезет она разных вкусных вещей, а главное — сама приедет. Когда мама Надя дома, жить как-то легче.

Мы вышли на берег, чтобы встретить ее. Мы махали руками и прыгали от радости, когда речной трамвайчик проплывал мимо. С трамвайчика нам не ответили. Мы перестали прыгать и сели.

Много людей сошло с трамвайчика на берег, но среди них мамы Нади не было.

Грустные сидели мы на берегу и тихо пели песенку:

Лед по Каме не плывет,
Наша мама не идет.
Кама, Кама,
Где же наша мама?

К пристани подошел второй трамвайчик, а мама Надя опять не приехала. Мы еще раз спели нашу песенку.

Когда человеку грустно, он ничего не может делать. Мы прогулялись по берегу, посидели на той самой скамеечке, на которой утром си-

дела и горько плакала девочка в красных трусиках.

Третий трамвайчик подошел к пристани. Много людей высыпало на берег, но среди них не было той, которую мы ждали.

— Безобразие, — сказал Ленька.

Плакать мы, конечно, не плакали, но вздыхали враз и громко.

Вдруг видим: идет по берегу та самая девочка в красных трусиках и улыбается.

— Чего это она? — спросил Ленька. — То ревет, то улыбается?..

А мне подумалось, что было бы здорово замечательно, если бы девочка подошла к нам и спросила:

— Почему вы такие грустные?

Мы бы рассказали ей о своем плохом поведении, пожаловались бы, и нам стало бы легче.

Но девочка прошла мимо. Какое ей до нас дело! Мы грустные, а она веселая.

— И чего ей смешно? — всхлипнул Ленька.

— Может, у нее мама приехала? — спросил я.

Мы вернулись домой и сели пить чай. Делали мы это для того, чтобы убить медленное время. Выпили по целых три чашки, вымыли посуду.

И когда нам стало уже не грустно, а страшно, приехала мама Надя. Мы по нескольку раз поцеловали ее в обе щеки. Она улыбалась и молчала. Она и без наших рассказов поняла, что мы во всем раскаиваемся.

ЛИВЕНЬ ДАВНО УТИХ

Я даже не знал, с чего начать это неприятное письмо.

За стенкой Ленька камнем вбивал гвоздь в доску и напевал песенку, слова которой мы придумали вместе:

Ах, Мари, Мари, Мари,
Зачем ты съела сухари?
Зачем ты съела винегрет?
Зачем ты съела белый хлеб?

Ленька провинился сегодня утром — соврал. Мама Надя сказала, что если он будет говорить правду, то спать будет крепко-крепко. Спать Ленька не любил, но дал слово, что постарается не врать.

— Зачем ты съела сухари? — весело напевал он и стучал камнем.

Ему легко жить — он верит, что если вбить в доску гвоздь, то получится корабль.

Вот он, видимо, вбил гвоздь, ушел на улицу и унес песенку с собой... Нет, песенка осталась. «Ах, Мари, Мари...» — начал я напевать и даже привскочил от злости. А глупая песенка, словно смеясь надо мной, пелась и пелась у меня в голове... Нет, это просто издевательство — ушел, а песенку оставил...

К вечеру на дачный поселок вылилась страшная гроза, злая и громкая. С потолка закапало.

— Тонем! Тонем! — радостно кричал Ленька.

Весь пол мы устали кастрюлями и тарелками. Тяжелые капли отрывались от потолка и падали, поднимая трезвон-перезвон.

— Красота, — сказал Ленька, — ни разу в жизни такой грозы не видал. А вы?

Мы отрицательно покачали головами, хотя однажды видели грозу и похуже этой. Помню, приехали мы из родильного дома с Надей и Ленькой. Тогда я и стал звать ее мамой Надей, потому что — худенькая и легкая — она совсем не походила на мать.

Все гости были веселые, и только рыженькая Леночка даже не улыбалась. Я решил, что она просто устала: ведь это она навела в комнате порядок, приготовила угощение и выстирала первые пеленки.

Когда гости ушли, мы с мамой Надей, не сдержавшись, поцеловались, обалделые от счастья.

А Леночка вдруг расплакалась. Плакала она долго и громко. Бывает так — надо человеку выплакаться, и мы не приставали с расспросами.

Началась гроза. Казалось, молнии летали около самого окна, а гром бухал прямо над потолком.

Леночка сказала:

— Я пойду...

И сколько мы ни уговаривали ее, она ушла. Я выглянул в окно. Леночка шагала спокойно, заложив руки за спину, высоко запрокинув го-

лову, будто для того, чтобы ливень смыл ей слезы. Мама Надя потянула меня за рукав, я выбежал на улицу и у ворот догнал Леночку.

— Нет, нет, нет! — бормотала она. — Я пойду, пойду... Я не могу с вами, не могу. Вы... вы счастливые! — она тонко всхлипнула. — Вы счастливые, а я...

Ливень хлестал Леночку по лицу, и все-таки я видел, как из ее васильковых глаз бежали слезы. Их нельзя было спутать с дождевыми каплями. Слезы были крупнее и светлее.

Потом мы сидели с мамой Надей над Ленкиной кроваткой и чувствовали себя виноватыми. Как-то стыдно было быть счастливыми, когда рядом плакало чужое горе.

Трудно жилось Леночке одной, без любимого человека. Всех она умела утешить, но не себя. У васильковых глаз появились морщинки. Меньше стало кудрей в рыжих волосах.

...Ливень давно утих, а в комнате еще долго слышался трезвон-перезвон.

Ленька умчался бегать по лужам. Видимо, у меня было такое измученное лицо, что мама Надя предложила:

— Не пиши. В конце концов, это не наше дело.

Я заткнул пузырек с чернилами пробкой, убрал бумагу и ручку в тумбочку.

Мы вышли на берег. Мутная, рассерженная грозой Кама недовольно плескалась.

— Конечно, не наше дело, — сказал я.

Мама Надя вздохнула, и я понял, что мы стараемся обмануть друг друга. В том-то и

беда, что это наше дело. Я вспомнил, как появился у нас в конструкторском бюро Паша, толстый, добродушный увалень. Вспомнил, как вскоре разгладились морщинки у васильковых глаз Леночки, буйно закудрявились рыжие волосы.

Вчера была помолвка. Через неделю зарегистрируются и — свадьба. Леночка попросила нас честно сказать свое мнение. Мы обозвали ее глупой. Какие тут нужны советы? Женитесь да живите себе на здоровье!

— А все-таки напишите, — сказала Леночка.

Мы проводили их до пристани и вернулись. На ступеньках лестницы я увидел маленький, вчетверо сложенный листок бумаги. Мне не надо было поднимать его! Мне надо было пройти мимо или изорвать его, не читая!

Но я поднял листок и прочитал. На душе у меня стало мерзко, будто я заглянул в замочную скважину и увидел то, на что посторонним лучше не смотреть. Я отдал письмо маме Наде, и она, которая плачет редко, тут не могла сдержаться.

— Предположим, мы этого письма не видели, — сказал я.

Мама Надя ответила:

— А мы его видели.

Утих ветер. Кама посветлела.

Если бы сейчас рядом оказался Паша, я... А что я мог сделать? Дать ему по физиономии? Разве легче будет от этого Леночке? Разве легче будет сыну и женщине, которых Паша оставил в соседнем городе?

«А тебе какое дело? — спросил я себя. — Ну, совершил человек юшибку... Леночку он любит.

Будет у них счастье. Какое ты имеешь право вмешиваться в чужую судьбу?»

Предположим, мое дело — сторона. Сыграют свадьбу, пролетят месяцы или годы, и вдруг грянет гроза, прибежит к нам заплаканная Леночка и крикнет:

— Обманул!

А потом взглянет нам в глаза и добавит:

— И вы обманули.

Тихая была ночь. Мне казалось, что я слышу, как дышат деревья. Все вокруг было вымыто грозой. Все было чистым и свежим.

Крепко спал Ленька.

Мама Надя стояла у окна.

Я писал. Буквы получались крупными, злыми; фразы — короткими. Я писал и видел как у Леночкиных глаз появляется все больше и больше морщинок.

Казалось, что снова поднялась пыль с дорог, перестали дышать деревья, и уже не было вокруг послегрозовой чистоты.

Крепко спал Ленька.

Мама Надя стояла у окна.

Я запечатал письмо в конверт, спрятал его подальше — во внутренний карман пиджака, рядом с документами.

Второе письмо получилось еще короче. Буквы были прямые, ровные. Леночка улыбнется, прочитав это письмо. Его я сунул в другой карман, рядом с пачкой папирос. Я мог ворваться в чужую жизнь и в мгновение отнять у Леночки долгожданное счастье. Я мог пройти мимо, не думая, что будет дальше.

Утром Кама была голубовато-серой. Слева на горизонте сквозь дымку виднелся город, справа — синие дали.

Мимо плыл теплоход, на нем ехала веселая музыка, вылетала из радиодинамиков и плыла, не отставая, за судном. Хотелось задержать ее, но она плыла и плыла вниз по течению.

После свадьбы Леночка мечтала прокатиться на пароходе, а мы собирались помахать ей с берега.

Скрылся из виду теплоход. Вместе с ним скрылась и веселая музыка.

Я машинально проверил, оба ли письма на месте, и направился по берегу туда, где на здании клуба висит почтовый ящик.

ЭТОТ КРАСИВЫЙ МОРЯК

Опять ты обидел ее? — спросил я Леньку. — Выпороть тебя не мешало бы за такие дела.

Ленька ответил:

— Детей бить нельзя.

Он стоял передо мной, опустив круглую, наголо стриженную голову, и время от времени проводил руками за резинкой своих грязных, бывших когда-то желтыми трусиков. Делал он так не потому, что они спадывали, а, наоборот, потому что резинка была тугой. Утром мама Надя советовала ему надеть другие трусики, иначе живот заболит, но Ленька упрямо заявил:

— Замечательные трусики, а резинка у них слабая. И живот у меня, будь спокоен, закаленный.

Теперь живот его был в красных вдавленных полосах, будто его бечевками стягивали. Лицо у Леньки было вымазано сажей — это он играл в негра.

Мама Надя воскликнула:

— Ведь вчера только ты дал слово вести себя хорошо!

Ленька и пришел ко мне жаловаться.

— Зачем ты обидел ее своим отвратительным поведением? — спросил я.

— Она говорит, что у меня твой характер, — с гордостью ответил сын и, понизив голос, добавил: — Она все равно меня любит. И тебя тоже.

— Ты думаешь, что тебе не попадет?

— Может быть, попадет, — согласился Ленька, — но она нас все равно любит.

Ему попало, и здорово. Во-первых, его не отпустили бросать гальки в Каму, во-вторых, вымыли горячей водой, в-третьих, сказали, что в ближайшее время, впредь до особого распоряжения, он не получит ни одной мороженки.

Сейчас Ленька был чистенький, свеженький и притихший.

— А вот на крышу вылезу, — спросил он, — попадет?

Я кивнул.

— А она меня все равно любит.

Ленька был прав. Мама Надя любила нас и прощала нам все. Иногда, правда, нам доставалось, но в конце концов мы получали прощение. И мы всегда думали: простит! Не выгонит же она нас из дому! Куда она без нас денется? Кому в воскресенье будет пирожки стряпать?

Но в этот день мама Надя, видимо, решила доказать нам, что ее терпению и любви пришел самый настоящий конец.

Днем мы с Ленькой, убедившись, что она спит и ничего не слышит, вылезли через окно на крышу (что нам было строжайше запрещено). Такую мы увидели красоту, что забыли обо всем.

Хлопнули створки окна, и раздался спокойный голос мамы Нади:

— Вы хулиганы. Вам хочется упасть с крыши и поломать себе ноги. Пожалуйста, падайте, сколько вам угодно. Мне это абсолютно безразлично, потому что обоих вас я уже ни капельки не люблю.

А мы и не поверили! Глупые, мы подумали, что кого же ей еще можно любить, если не нас?

Мы сидели на крыше, пока нам не надоело, ждали, что мама Надя позовет нас и тут же простит.

Но она не звала нас. Когда мы влезли через окно в комнату, то не увидели мамы Нади. Мы сбегали на пристань, заглянули в магазины, к знакомым — нет. И все-таки мы были уверены, что она простит нас, и не очень беспокоились о ее исчезновении.

Не беспокоились, пока не увидели у калитки нашей дачи моряка. На белом кителе его сверкали изумительной красоты пуговицы, на груди были ордена и медали, а сбоку висел кортик. Солнечный луч попал на золото кортика и стрельнул мне в глаз. Я зажмурился.

Мы стояли, разинув рты. Это был красивый моряк и, наверное, смелый.

Тут мы вспомнили, как однажды мама Надя сказала нам, что у нее есть знакомый моряк, с которым она училась в школе, что этот моряк никогда ее не обижал даже тогда, когда еще и не был моряком, и что он, между прочим, красивее нас обоих, и что она выйдет за него замуж, если мы будем вести себя плохо, и будет у нее новый сын, получше, чем Ленка.

И тут нам стало не по себе. А моряк спросил, где ему разыскать женщину по имени Надя,

фамилии которой он не знает, потому что она вышла замуж и переменяла фамилию.

Как нам хотелось обмануть этого красивого моряка! Как нам хотелось сказать ему, что никакой Нади здесь нет, а если даже она здесь и живет, то его это нисколько не касается, пусть плавает по своим морям и океанам и не ездит сюда совсем. Нечего ему здесь делать.

Но мы не соврали, мы сказали, что Надя живет здесь, что она наша: вот я — ее муж, а он, Ленька, ее сын.

И показалось, что моряк взглянул на нас с усмешкой. Дескать, противно даже и подумать, что Надя могла променять меня на вас. Вот возьму и увезу ее с собой, а вы тут живите как знаете.

— А она нас любит, — дрожащим голосом сказал Ленька. — А то, что мы иногда ссоримся, то ерунда.

— Ссоритесь? — спросил моряк. — Почему?

Что ответить, мы не знали, потому что сейчас действительно не могли понять, зачем мы с ней ссорились и обижали разными глупостями.

— Можно ее подождать? — спросил моряк.

Вздохнув, мы ответили, что можно. Мы даже угостили его чаем. Моряк съел три шоколадных конфеты.

Мы не теряли времени даром: натаскали полный бак воды, чтобы мама Надя была довольна; начистили овощей для супа, подмели пол.

А моряк стоял на балкончике и курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

Мы знали, о ком он думает. Мы знали, что она любит нас, а не его, хотя он и красивый.

И все-таки нам было очень невесело.

— Может, она сегодня и не придет! — громко, так, чтобы слышал моряк, сказал Ленька. — Возьмет да и не придет!

Мама Надя тут же пришла. Она не обратила на нас внимания, поцеловала моряка и проговорила:

— Хорошо, что приехал.

А моряк развернул сверток и протянул ей набор духов в зеленой коробке. Мы чуть не закричали от возмущения. Он хитрый, этот красивый моряк! Он подарил ей именно тот набор, о котором она давно мечтала.

— А сегодня не восьмое марта, — насмешливо сказал Ленька.

— Есть на свете люди, — ответила мама Надя, — которые хорошо ко мне относятся всю жизнь, а не только восьмого марта.

Вот так...

Мама Надя сидела с моряком на балкончике, и они о чем-то говорили, смеялись.

Моряк курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

— Давай залезем на крышу, — предложил Ленька, — и будто бы упадем. Может, она пожалеет нас?

Мы вылезли через окно на крышу, сели у самого края. Мама Надя отлично видела, что мы рискуем жизнью, но ничего не сказала. Она вела себя так, словно нас не было не только на крыше, но и на свете!

А потом она сказала, чтобы мы готовили

себе ужин, а она сейчас уедет в город и пойдет в театр смотреть веселую комедию.

Это было уже слишком, но мы промолчали.

Мама Надя надела свое лучшее платье, наше любимое платье — голубое с белым горошком.

— Какая ты красивая, — сказал моряк.

А мы и без него знали, что она красивая! Только не говорили ей об этом. Подумаешь, приехал тут, открытие сделал!

Мы смотрели на моряка и старались улыбаться. Он был весь блестящий, чисто выбрит, на брюках — острые складки.

— Я больше в негра играть не буду, — шепнул мне Ленька, — а ты почаще брейся.

Мы проводили их до калитки.

— Ты приедешь? — спросил Ленька, шмыгнув носом.

— Может быть, — весело ответила мама Надя.

Мы долго смотрели им вслед. Если бы вы знали, как нам было обидно!

До поздней ночи мы сидели на балкончике и молчали. Видимо, мы получили по заслугам.

— Кортик у него, по-моему, не настоящий, — сказал Ленька.

— Нет, кортик у него настоящий, — возразил я.

— А, может, он и не моряк, — сказал Ленька. — Бывают такие: форма морская, а моря и в глаза не видели.

«Нет, — грустно подумал я, — это настоящий моряк. Он плавал по настоящим морям и океанам. И как бы ему ни приходилось трудно, пуговицы на его кителе всегда сверкали. И как бы ему ни было трудно, он не забывал

ее, которую знал еще тогда, когда не был моряком».

Дачный поселок спал. Одни мы не спали. Ждали маму Надю. И совсем не трудно догадаться, о чем мы с ним думали...

— Ты разбуди меня, если я усну, — попросил Ленька. — Как только она вернется, сразу разбуди. Мне необходимо с ней поговорить. Ладно?

АРХИП

Архип — это снегирь, симпатичнейшая птица.

Купили мы его случайно. Ходили как-то с Ленкой на рынок за картошкой. Идем обратно и слышим птичий гомон. Дело было в декабре, а тут свист-пересвист-чириканье, будто ранней весной, когда каждая живинка свой голосок пробует.

Смотрим: замерзшие мальчишки продают нахохлившихся в клетках птиц.

Спрашиваем у одного мокроносового продавца, сколько стоят его красивые щеглы.

— Пятнадцать штука, двадцать пять пара да за клетку пятнадцать, — протараторил мокроносый продавец.

Таких денег у нас не было.

Потом мы увидели в сторонке маленького грустного человека в мохнатой шапке. В руках он держал клетку со снегирем.

Спросили мы, сколько стоит такая птица.

— За восьмерку отдам. Да за клетку десятку. Всего-навсего восемнадцать рублей.

Мы вздохнули и пошли прочь.

— Пятнадцать за все удовольствие! — грустно крикнул продавец. — Почти бесплатно отдаю Архипа!

Тогда мы честно признались, что денег у нас одиннадцать рублей — две трешки и одна пятерка.

Продавец внимательно оглядел нас и спросил:

— Любить Архипа будете крепко?

— Еще как! — ответили мы.

— Берите мое счастье за две трешки и одну пятерку! — продавец махнул рукой. — Прощай, Архип! Плакать я без тебя буду дни и ночи.

— Почему же ты продаешь его? — спросили мы. — Почему же ты свое счастье за одиннадцать рублей продаешь? Неужели ты без денег жить не можешь?

— Не деньги мне нужны, — грустно ответил продавец, — я и без денег счастливый человек. А только нету у меня никакой возможности свое счастье держать. Злые люди-соседи выжили его... Прощай, Архип!

Мама Надя не обрадовалась нашей покупке, сказала:

— Повернуться негде, а вы целый зоопарк принесли.

Мы долго искали место, куда бы поставить клетку. Проще всего было вынести ее на кухню, но там обитал страшный кот Влас, которого боялись даже собаки. Страшнее Власа была его хозяйка — наша соседка Анастасия Емельяновна. Она завидовала всем счастливым людям, если даже их счастье стоило всего две трешки и одну пятерку.

Больше всего на свете Анастасия Емельяновна любила ругаться. Выйдет утром на кухню, довольная, радостная, и рассказывает:

— Море я во сне видела. Стою на берегу и с морем ругаюсь. Уж так я его отчихвостила!

Мы вспомнили слова продавца о злых соседях и повесили клетку над книжной полкой.

Дали Архипу клюквы. Возьмет он ягодку, высосет сок и как тряхнет головой — брызги во все стороны. Потом он запел грустные-прегрустные песни. Жалко нам его стало. Мама Надя открыла клетку. Архип вылетел, сел на шкаф и запел веселые песни.

Утром мы проснулись от его пения. Нам даже показалось, что комната стала выше и шире.

Архип завтракал вместе с нами — прыгал по столу, лузгал семечки, сосал клюкву да воду из блюдца пил.

Я уехал на завод, мама Надя — в библиотеку, а Ленька — в детский сад. Весь день я вспоминал о снегире, и работалось мне очень весело.

Вечером Архип встретил нас радостным пением. Сидим слушаем — хорошо!

Вдруг на кухне начался трам-тарарам, и раздался голос Анастасии Емельяновны:

— Измучили кота! Птицу развели! А кот волнуется! Нервный стал!

Теперь каждый раз, выходя на кухню, она устраивала трам-тарарам и громко жалела кота Власа.

Мы помалкивали.

Когда я платил деньги за квартиру, домоуправляющий спросил:

— Что же это вы птиц на коммунальной жилплощади разводите? Антисанитарией почему занимаетесь?

Я объяснил, что антисанитарии снегирь выделяет не так уж много, что...

— Не знаю, не знаю, — перебил домоуправляющий, подозрительно рассматривая меня, словно отыскивал следы снегиревой антисанитарии.

К нам явилась комиссия — целых шесть человек. Так как все сразу они не могли уместиться в комнатке, то заходили по трое и спрашивали, почему мы издеваемся над пожилой женщиной, матерью троих детей. Потом они писали акт, долго беседовали с Анастасией Емельяновной, убеждая ее, что пожилой женщине, матери троих детей, кляузничать стыдно.

— Есть на свете правда, — прижав к груди сонного Власа, отвечала она. — Много вас, бюрократов, развелось! Сегодня они птицу купили, завтра собаку приволокут, а послезавтра? А? Я со свиньями жить не хочу! — и выставила комиссию за дверь, да еще вдогонку пообещала: — И до вас доберемся!

Через несколько дней меня вызвали в завком и спросили, почему я издеваюсь над матерью троих детей.

Опять приходила комиссия, опять писали акт, опять уговаривали Анастасию Емельяновну не кляузничать, и опять она выставила комиссию за дверь, и опять кричала вдогонку:

— Есть правда на земле! Развелось вас, бюрократов, на нашу голову!

К счастью, Влас стянул у нас из супа курицу, и три дня мы жили спокойно. Я на радостях починил соседке электрический уют, переменил шарниры у шкафа, в воскресенье сделал проводку для радио.

Архип распевал вовсю!

По вечерам он купался. Сначала он прыгал вокруг миски, потом садился на край и — в воду. Замрет — и давай трепыхаться.

Пусть вместе с клеткой он стоил всего одиннадцать рублей, жить в его компании было веселее. И жалели мы продавца, который испугался злых людей и расстался со своим счастьем.

Анастасия Емельяновна купила репродуктор. Ну, думаем, будет она теперь слушать радио и... Репродуктор гудел от напряжения. Архип забился в угол.

На кухне начался трам-тарарам. Соседка кричала:

— Подумаешь, образованные! Нарочно кастрюлю не закрыли, чтоб кот ихнюю курицу унюхал! Я знаю, сейчас они насчет радио зажалуются! А что, мне и радио послушать нельзя?

Первой не выдержала мама Надя, сказала:

— Я так не могу. У меня голова заболела.

— Надо сшить шапки с большими ушами, — прошептал Ленька, — и уши закрыть. Пусть себе кричит, а мы ничего не слышим.

Домоуправляющий посоветовал:

— В таких случаях лучше отступить. Сдайте вы свою птицу в зверинец.

Терпели.

Но жалко было Архипа, который даже есть перестал. Решили мы его выпустить.

— Куда же он зимой полетит? — заплакал Ленька.

Мама Надя прикрикнула на него, он заревел

еще громче, я рассердился на маму Надю и выскочил из комнаты.

— Слушайте, — ласково сказал я Анастасии Емельяновне, — давайте перестанем. Пожалейте нас. Что мы вам плохого сделали?

Презрительно посмотрев на меня, соседка закричала:

— Я издеваться над собой не позволю! Думаете, если у вас образование...

Схватил я пустую трехлитровую банку и трахнул ее об пол. Влас со страху вспрыгнул на стол, и оттуда полетели миски и тарелки.

— Я тебе покажу! — кричал я. — Окна перебью! Ноги переломаю! Все провода оборву!

Что со мной приключилось, до сих пор не понимаю.

Тишина.

Слышу — запел Архип, сначала тихо-тихо, а затем все громче и радостней.

Анастасия Емельяновна посмотрела на меня с уважением и стала подметать пол.

ТОЛСТАЯ ТЕТЯ В ГОЛУБОМ ХАЛАТЕ

Есть такая песенка: «Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу».

И очень часто, устав от работы, мы вспоминали эту песенку, из которой знали всего две строчки. Анапа была для нас — неизвестно почему — символом жизни, пронизанной солнечным светом, теплым и беззаботным краем, где все люди добры и красивы, где есть море — то самое чудо природы, которое мечтает увидеть каждый и которого мы еще не видели.

Белую шляпу я купил зимой. Примерил — здорово! Без шляпы я — самый обыкновенный человек, а надену ее — и появляется в моем облике что-то солидное, представительное.

Долго не могли мы собраться в Анапу, пока однажды не взглянули друг на друга и не решили:

— Едем! В Анапу!

Я отказался от нового костюма, мама Надя — от туфель, а Ленька дрожащим голосом заявил, что может прожить и без двухколесного велосипеда.

В поезде нам стало известно, что мы «дикие». Оказывается, так называют нормальных людей,

если они едут на юг без путевок. Об этом нам сообщила толстая тетя в голубом халате. Сама она ехала в дом отдыха. Мы не стали ее расспрашивать, для чего ей ехать в дом отдыха, ведь еще больше растолстеет! Пусть, не жалко...

— Надену я белую шляпу, — запел Ленька.

— А где шляпа? — спросила мама Надя.

Стали искать. Даже в чемодан заглянули. Пропала шляпа!

— Вот, пожалуйста, — сказала толстая тетя в голубом халате, — плацкартный вагон. В купированных вещи не теряются. А всего лучше ехать в мягком.

— Встаньте-ка, — попросила мама Надя.

Тетя встала, мы взглянули на сидение — шляпы как не бывало. То есть она была, но главного — вида у нее уже не было. А у шляпы главное — вид.

Тетя чуть не расплакалась, предлагала нам деньги, свою шляпу, хотела записать наш адрес. Мы объяснили что шляпы нам почти не жалко, выбросили ее в окно и помахали на прощанье рукой.

А в Москве на вокзале мы ловко сбежали от тети.

Надо ли рассказывать, как хорошо нам было! Мы долго стояли на Красной площади, смотрели на смену почетного караула у входа в мавзолей, прошли по улице Горького, потолкались в арбатских магазинах и сели в поезд.

В купе с нами ехали студент и важный дядя. Студент у соседей дни и ночи играл в преферанс, и мы его почти не видели. Важный дядя

смотрел на нас с презрением, будто мы были безбилетниками.

На крючке над его головой покачивалась белая шляпа — точно такая же, какая была у меня, пока на нее не опустилась толстая тетя в голубом халате.

Весь день дядя спал с газетой в руках. Если она соскальзывала, дядя моментально просыпался, ловил ее и мгновенно засыпал.

Мы уважали его до боязни и разговаривали при нем шепотом. Стоило нам заговорить чуть погромче, как дядя открывал один глаз, и мы замолкали.

Усатая проводница покрикивала на всех пассажиров, а важный дядя покрикивал на нее, и она виновато кивала головой.

Анапа оказалась похожей на деревню, и не было в ней ничего особенного, кроме моря и солнца.

Сначала мы даже и не поверили, что перед нами самое настоящее море. Оно пахло водорослями и солью, глубиной и свежестью. Оно было разноцветное и живое. А мы были счастливыми.

— Я морем напился! Я морем напился! — восторженно кричал Ленька. — Честное слово, оно само мне в рот заскокнуло! Оно соленое!

К вечеру мы обнаружили, что нашим соседом был тот важный дядя, с которым нам пришлось ехать сюда в одном купе. Он — будто ни разу в жизни не видел нас! — прошествовал мимо, а мы даже поздороваться испугались.

Собачонка Чижик бросилась к нему с радостным визгом, но дядя так посмотрел на нее,

что она примолкла и виновато замахала хвостиком.

Дядя вынес во двор раскладушку, лег, развернул газету и захрапел — солидно, с достоинством.

Мы сидели в беседке под огромным раненым тополем. Ранило его осколком снаряда в войну. И хотя он не упал, хотя по-прежнему одевался листвой, большое дупло напоминало о его беде.

Над нами было густое небо. Невдалеке ровно дышало живое море.

— Он ведь тоже герой, да? — спросил Ленька, прижавшись к тополю и обняв его.

— Герои — это которые с орденами, — насмешливо ответил из темноты важный дядя. — А будь ты хоть весь в дырках...

— Пора спать, — перебила мама Надя и повела Леньку в дом.

А Ленька спросил:

— Этот дядя в дырках или нет? Как потвоему?

Когда они ушли, я сказал:

— Зачем же это вы при ребенке...

— И дети с малых лет должны правду знать, — проговорил дядя таким наставительным тоном, что я побоялся спорить.

С утра мы уходили к морю и возвращались поздно. Если Чирик встречал нас радостным лаем, мы знали: дяди еще нет дома, если Чирик виновато махал хвостом, значит дядя спал во дворе с газетой в руках.

Как-то я сидел в беседке один. Распахнулась калитка, ко мне нетвердыми шагами подошел дядя и плюхнулся рядом.

— Отдыхать надо без семьи, — заговорил он. — Что за отдых, я не понимаю, с детьми и женой? — От него пахло спиртным, и слова он произносил с трудом, будто боролся с ними. — У меня жена... — дядя загадочно округлил глаза, словно намереваясь сообщить тайну, — вот такой ширины... — и показал руками размеры своего собственного корпуса. — Королева Марго... — Он достал из кармана бутылку, налил в стакан. — Ну, будем здоровы и прочее... — выпил и облизнулся. — Не вино, а ситро. Вообще, безобразий у нас — куда ни ткнись, везде... — дядя выпятил мокрые толстые губы. — С водкой и то перебои бывают.

— Семья у вас большая? — спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.

— Семья? — он как-то странно хмыкнул или хрюкнул, будто его коротким ударом стукнули по горлу. — Семья... семья... — с одной и той же кислой интонацией повторил дядя. — Сын и две примадонны. Вот летом и отдыхаю... Живу! — он хлопнул себя по широкой пухлой груди. Жесткие волосы на ней прокалывали шелковую рубашку. — Я вообще... — он плотоядно осклабился. — А что? Надо жить. Жить надо... Вот вы своего ребеночка от правды бережете. А зачем? Нет, я своим чадам говорю, что сволочь, она завсегда легче живет.

Казалось, что дядя не произносил слова, а жевал их и выплевывал. Он, даваясь, допил остатки вина, взял бутылку за горлышко и швырнул в сад.

— Это свинство, — сказала из окна мама Надя, — поднимите бутылку.

— Хозяин уберет, — сказал важный дядя. — Вы его не жалейте, спекулянта. Сидят на нашей шее, фрукты-овощи... Вот вы, — он нагнулся ко мне, — вроде бы интеллигент, а на шляпу, на шля-пу заработать не можете! — и хохотнул, и ушел, ломая кусты.

Утром мы лежали на пляже и обсуждали, переезжать нам на другую квартиру или нет.

Вдруг слышим Ленькин голос:

— Здравствуйте, тетенька!

Смотрим: а это наша знакомая — толстая тетя в голубом халате.

— Завтра уезжаю домой, — грустно сказала она, — вызывают на работу.

Ветер откинул полу халата, и мы увидели над коленом большой глубокий рубец.

— С войны осталось, — виновато сказала она, запахивая халат, и повернулась к морю.

А оно, живое и сильное, подползало к ее ногам. Здесь, у берега, оно было мутное, а там, где летали чайки, — чистое, прозрачное — чудо природы...

ВЕТОЧКА

Я люблю видеть сны, такие, чтобы, проснувшись, закинуть руки за голову и долго вспоминать увиденное.

Только редко я вижу хорошие сны. Мама Надя объясняет это моей привычкой спать на левом боку. Дескать, сожмешь сердце, надавишь на него, тяжело ему биться, и сны от этого беспокойные.

Ленька спит и на левом боку, и на правом, и на спине, и на животе, а сны видит замечательные.

Приснилась ему, например, пальма. Будто жили мы в горячей Африке, воткнули в песок веточку, стали ее поливать, и выросла пальма, а на ней мартышки сидят, улыбаются.

— Мартышки тоже из веточки выросли, — сказал Ленька, — прямо как яблоки.

Посмеялись мы и забыли про этот сон. Но теперь, когда Ленька садился рисовать, на листе бумаги одна за другой появлялись пальмы. Были они длинные и разноцветные. Мартышки были круглые и тоже разноцветные.

Через несколько дней Ленька еще раз увидел во сне пальмы. Испуганно и удивленно рассказывал он:

— Вы подумайте: пальмы росли в снегу! В холодном снегу! Мартышек, конечно, не было. Ни одной мартышечки. А пальмы были.

Кто его знает, может, Ленька и выдумал этот сон, выдумал и — поверил.

Вечером он ушел кататься на лыжах. Возвращался он всегда с шумом: хлопала дверь, раздавался стук упавших лыж, звенел радостный голос:

— Есть хочу!

А тут Ленька вошел тихо, и сам он был тихий. В руках он держал черную от угольной пыли палочку с засохшими листьями.

— Зачем ты принес эту грязь? — спросил я.

— Что ты... — прошептал Ленька. — Это веточка. — В серых глазах его было изумление. — Это, конечно, не пальма, но она вырастет. Вот увидешь, у нее будут листья. Зеленые такие листочки.

— Сейчас зима, — ответил я, — разве зимой растут листья? — И, чтобы не огорчать сына, добавил весело: — Вот когда мы будем жить в Африке или Анапе, тогда другое дело.

Ленька с сожалением покачал головой и, словно опасаясь, что я отберу у него веточку, стал снимать пальто, не выпуская ее из рук.

Он налил воды в бутылку из-под кефира и всунул туда веточку. Вода сразу стала темноватой, будто в нее капнули чернил.

Ленька, видимо, почувствовал мое неверие и сказал:

— Ну и что? Пусть не вырастет. Здесь ей тепло. А в снегу холодно. Пусть хоть согреется. — Он переменял воду, поставил бутылку на стол и спросил: — Чья же она?

А это была веточка шиповника: на ней со всех сторон торчали острые шипики-коготки.

— Колются-колются! — радостно кричал Ленька, трогая их пальцами. — Нет, они не дадут ее в обиду! — и поглядывал на меня.

Сухие твердые листья пришлось оторвать — они отпадали при первом прикосновении.

Мама Надя ничего не заметила, когда пришла домой, и я сказал:

— Посмотри. Он уверен, что на этой палочке вырастут листья. Вот сейчас, зимой.

— Нет, — ответила мама Надя, — сначала появятся почки.

— А потом мартышки, — насмешливо добавил я.

Злая пурга шуршала по окну снежной крупой.

— Ты молодец, — сказала мама Надя Ленке, — молодец, потому что пожалел веточку. Поставь ее на подоконник к батарее. Там тепло и светло.

Мне было неловко перед ними, хотя я действительно не верил, что сухая веточка зазеленеет, да еще зимой.

А друзья мои верили. Они каждый день меняли воду, утром, едва проснувшись, Ленька бросался к окну.

Когда их не было в комнате, я внимательно разглядывал веточку и — жестокий человек! — думал. «Эх, друзья, напрасно стараетесь...»

Как-то утром Ленька не бросился к подоконнику. В этот день он не переменял воду в бутылке.

— Глупая ветка! — с отчаянием воскликнул Ленька. — Надо ее выбросить!

И даже мама Надя промолчала. Однако никто из нас не решался выбросить веточку.

А в окно стучалась пурга.

Приснился мне замечательный сон: будто бы наша веточка зазеленела! Проснувшись, я долго лежал, закинув руки за голову.

Ленька, как и я, спал на левом боку. Лицо у него было счастливое.

Он открыл глаза и — бросился к подоконнику.

— Спасибо, веточка... — услышал я.

Ленька осторожно взял бутылку двумя руками и поднес ко мне. Почки на веточке набухли, лопнули, в них виднелось что-то очень зеленое.

— Вот, — устало сказал Денька, — а захотел бы, так и мартышки бы выросли. Девять штук.

За окном жалобно повизгивала пурга.

ДЕД

Говорили, что он умер оттого, что ушел на пенсию. И хотя это невозможно ни доказать, ни опровергнуть, — кровоизлияние в мозг могло произойти и раньше и позже, — я согласен. Понимаете, есть что-то очень жестокое в том, что человеку, отдавшему всю жизнь работе, приходится бросать ее сразу.

Помню удивленное, виноватое, растерянное лицо Ленкиного деда, когда он утром, тяжело и громко вздыхая, слонялся по квартире — в первый день пенсии. И всем нам было почему-то неловко, неудобно перед ним.

За несколько дней он постарел, еще больше сгорбился. Не знаю, что бы он делал, чем бы занимался, если бы не внук.

Отношения Ленки и деда можно было определить только одним словом — дружба. В ней не было приливов и отливов, взлетов и падений — ровное, неизменное чувство.

Слушали они радиопередачу о Китае, и оба пришли к выводу, что Китай — замечательная страна, а китайцы — очень хорошие люди.

— Но, — сказал Ленка, — такого дедушки, как ты, даже у китайцев нет. По-моему.

Дед торопливо ушел на кухню, а когда вернулся, глаза у него были красноватые.

Пятилетний внук и пятидесятивосьмилетний дед отлично понимали друг друга. Объяснялось это, видимо, еще и тем, что нам, занятым повседневными делами и каждодневными обязанностями, некогда было заглядывать в свои и чужие души. Ведь жизнь делает человека сначала черствым: разрушая юношеские иллюзии, она дает взамен умение ограничивать себя в желаниях. Но с годами человек, несколько не отказывая жизни в виртуозной способности кромсать иллюзии, приходит к мысли, что надо быть таким, каким ты и явился в этот мир — наивным, простодушным, сердечным, все знающим и все открывающим заново.

Вот на этом старость и детство сходятся в отличие от молодости и зрелости, у которых нет точек соприкосновения. Старик умом, а младенец сердцем чувствуют, что жизнь прекрасна сама по себе, если люди не вредят друг другу, и стоит пережить многое, чтобы уметь радоваться тому, что иные считают пустяками.

О, как они — дед и внук — умели жить! Как они умели из самых обыкновенных, зауряднейших дел делать радостные события! Даже из трамвайной поездки они приносили столько впечатлений, что разговоров и переживаний хватало надолго.

Деду не хотелось, чтобы люди замечали его старость, и он был благодарен внуку за то, что тот заставлял его играть в футбол. Ленке хотелось быть взрослым, и дед, понимая и уважая его желание, покупал ему в трамвае билет.

Жили мы тогда рядом с кладбищем, и похо-

ронные процессии были для нас обычным, а для Леньки веселым зрелищем.

Когда старуха из соседнего подъезда радостно спросила его:

— А если помрет дед-то?

Ленька ответил:

— А я бум-бум-бум! — изображая удары медными тарелками.

Старуха долго хихикала, смущенно закрывая лицо рукой.

Потом я получил комнату, и дед почти каждый день через весь город ходил навещать своего друга. Последний раз он зашел к нам дня за два до смерти, сидел какой-то притихший, часто произносил «да-а», не сводил глаз с внука и уже у порога сказал:

— Если умру, тульская двустволка и патронташ твой.

...Ночь я почти не спал, думая, какими словами передать сыну тяжкую весть.

Ленька проснулся необычно рано — вздрогнул всем телом и открыл глаза.

— Ты уже не маленький, — проговорил я, — ты должен понимать...

— Дед умер, да? — перебил Ленька.

Я кивнул.

Лицо его оставалось спокойным, задумчивым. Он долго лежал молча, потом спросил:

— Значит теперь тульская двустволка моя будет?

Я кивнул.

— И патронташ?

Признаюсь, мне стало не по себе. И только значительно позднее я догадался, что мерял ощущения сына с точки зрения взрослого че-

ловека. А еще можно спорить, чья точка зрения разумнее и естественнее.

Мы молча прошли через весь город. Лишь у подъезда Ленька сказал:

— Уведи меня отсюда.

Так я и сделал — отвел его к знакомым. Они потом с удивлением рассказывали:

— Играл, бегал, смеялся — будто ничего и не случилось.

Только через неделю, вечером, когда об окно ударился ветер, Ленька спросил:

— А носовой платок у него с собой есть?

Утром он отнес на могилу носовой платок, на котором сам вышел зелеными нитками вёрблюда.

У могилы он стоял долго, лицо его было задумчиво.

Вообще, можно было только догадываться, о чем он думал в эти дни. Да, он играл, бегал, смеялся, но это был уже не тот Ленька, что прежде. В чем заключалась перемена, не берусь определить. Но перемена была, и не внешняя, а внутренняя. Скорей всего, что впервые в жизни Ленька испытывал одиночество, причем одну из его самых острых форм, когда чувствуешь себя одиноким не потому, что у тебя нет близких людей, а потому, что они-то есть, а одного все-таки нет. И не хватает его!

Может быть, Ленька впервые в жизни ощущал тот непреложный факт, что один человек не может заменить другого, даже если он лучше его.

Временами мне казалось, что Ленька просто не в состоянии понять, что такое умер. А временами — да простится мне! — я думал,

что только один он по-настоящему понимает это. Ведь мы жалеем умерших, измеряя боль той пустотой, которую они образовали в нашей жизни своим уходом. Гораздо реже мы жале-ем умерших из-за того, что они не испытали всех радостей.

Однажды мы пришли навестить бабушку. И вдруг явилась молоденькая, розовощекая девушка штрафовать деда за задержку книг из библиотеки. Девушка, видимо, понятия не имела о смерти — возмущенно доказывала, что можно было найти время и вернуть книги.

Ленька сказал ей:

— Если бы он не умер, он бы сдал книги. Он был очень хороший дедушка.

И девушка больше не спорила. Ушла.

Мы часто вспоминали деда. Неужели обязательно нужно умереть, чтобы доказать, что ты всем нужен, что без тебя, оказывается, тебя не достает?

Создавалось впечатление — по крайней мере, у меня, — что Ленька таил свою боль, а мы, взрослые, передавали ее друг другу.

Он, можно сказать, любил бывать на кладбище. Как это ни странно, весной здесь было очень хорошо. Тишина, какая-то умиротворенность, зелень и еще что-то... Что? Наверное, то, что все атрибуты смерти не производили никакого впечатления по сравнению, предположим, с радостной голубизной неба. Одна и та же мысль приходила в голову: первое, что вызывает вид смерти, — это жажда жить.

Каждый раз Ленька приносил деду подарок — то пластмассового солдатики, то рисунок, то вышивку, то пластилинового астронав-

та. Через несколько дней, если вещь не исчезала, он уносил ее обратно.

Когда он вспоминал о деде, глаза его становились задумчивыми, немного недетскими, с примесью удивления, но не грусти.

Однажды я пришел на кладбище, чтобы переменить воду в банке с цветами. Подойдя к знакомой ограде, я остановился в изумлении: взявшись руками за железные прутья, Ленька смотрел на фотографию деда.

Я не окликнул сына. Он сам обернулся, сказал:

— Хороший был дедушка. Не понимаю только, зачем он умер. Я буду таким, как он. Буду большой, заработаю денег, поставлю ему красивый памятник. Чтобы он на коне сидел. А в руках красное знамя. Да?

Словом, жизнь текла своим чередом.

Тульская двустволка висела на своем месте. Патронташ — тоже.



ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

ПЕТРОВНА

— Устиновна-а-а! — надрываясь кричит старуха. Она стоит на крыльце избы, прислушиваясь, оттянув от уха платок. Ответа нет, и она снова кричит, от усилия приподнимаясь на цыпочки: — Устиновна-а-а!

Молчит деревня, не откликается. Тогда старуха произносит спокойно:

— Будь ты проклята.

И садится на крыльцо, свесив голову, упершись в доски жилистыми пальцами, и широкие, острые плечи ее торчат, как крылья большой ошипанной птицы.

Пятилетняя Устиновна спряталась за сараем в огороде. Когда крики смолкли, она осторожно двинулась сквозь заросли крапивы, временами тонко, почти неслышно попискивая.

Старуха снова встает на крыльце и кричит: — Устиновна!

Девочка уже стоит за углом избы, в трех шагах от бабушки, и молчит. У нее бледное, незагорелое лицо, какое редко встретишь в деревне; прямые льняные волосы закрывают шею и на концах загибаются вверх; по середине головы от лба к макушке тянется прямой пробор — полосочка розовой кожи. Глаза у

девочки голубые, пронзительные, не детские, будто она смотрит на что-то нехорошее, взрослое и все понимает.

Держится Устиновна странно. Нет в ней юркости, как говорит бабушка. Явно кому-то подражая, девочка иногда делает что-то похожее на движения, какими женщины поправляют груди, или вдруг пройдет так, как ходят женщины, — играя телом.

— Тьфу, пакостница! — сплюнет старуха, а Устиновна зальется смехом, сразу становится обыкновенной девочкой, и глаза ее смотрят с лукавым любопытством.

Невдогад старухе, что она сама надоумила внучку так проказить. Устиновне нравится наблюдать, как злится бабушка, а рассердить ее можно только вот этими фокусами.

Бабушка сидит неподвижно, будто дремлет, опустив веки. Они очень выпуклы и почти черны, загорелое лицо в белых морщинах.

Устиновна зажимает рот рукой, сдерживая смех, но он вырывается сквозь пальцы, и девочка убегает к сараю. Отхохотавшись, она возвращается обратно и снова наблюдает за старухой. Подойдя, Устиновна наклоняется к ее уху и что есть силы кричит, почти визжит:

— И-и-и!

Старуха вскакивает и успевает схватить внучку за руку, держит цепко, дышит громко, прерывисто, выговаривая с трудом:

— Погибель моя... змея подколодная... выродок...

Далее следуют самые отборные ругательства. Старуха произносит их без всякого выражения, будто читает неразборчивый текст.

Затем она начинает бить Устиновну, но делает это неловко и без злости. Внучка увертывается от ударов и не плачет, а деловито подвывает. Изловчившись, старуха попадает своею сухой, но тяжелой ладонью по внучкиному заду, и тогда Устиновна ревет по-настоящему, громко, с удовольствием.

Выждав, старуха произносит удовлетворенно:

— Обедать пора.

И будто ничего не случилось, она гладит внучку по голове, девочка обнимает старуху одной рукой за ноги, и они идут в избу.

Насколько изба ветха и неприглядна снаружи, настолько добротна и аккуратна внутри — явный признак отсутствия в семье мужских рук. Некрашенные полы из широких досок здесь моются с песком, который растирается голиком — огрызком веника.

У порога старуха снимает лапти, а Устиновна ненадолго встает босыми ногами на влажную тряпку. Накрыв на стол, бабушка за руку подтаскивает девочку к переднему углу, где друг над другом сбились в кучку потемневшие иконы. Устиновна знает, что вслед за бабушкой надо прикладывать три пальца сначала ко лбу, потом к животу и к плечам. А самое интересное — поклоны. Кланяясь, девочка старается как можно громче стукнуться лбом об пол.

Увлеченная молением, бабушка и на этот раз ничего не заметила.

Есть у девочки еще одно развлечение: она не просто прикладывает пальцы, когда молится, а чешет ими лоб, живот, плечи... Смешно!

После обеда они ложатся на полу, постелив старый тулуп, и бабушка начинает рассказывать про бога. Каждый раз Устиновна засыпает при первых же словах...

С нетерпением ждет девочка вечера, и чем ближе он, тем чаще выбегает она за ворота.

Мать приходит уже в темноте. Устиновна прижимается к ней, чувствуя, какая она большая и горячая, сильная. Дочь старается удерживать ее на улице, чтобы мать не входила во двор. Мать и сама не торопится. Долго стоят они перед воротами. Вздохнув, мать подхватывает Устиновну одной рукой под коленки и несет.

Старуха ждет их на крыльце и не говорит, а шипит:

— Пришла, шушера...

Мать улыбается виновато, Устиновна показывает бабушке язык. Она не любит старуху только за то, что та свирепеет при одном упоминании имени своей дочери. Детский ум Устиновны не может разобраться в том, почему большая, сильная мать покорно переносит все обиды.

А старуха ворчит и ворчит:

— Блудница... распустила вожжи... бойся бога-то... держи себя... не охоться...

Лишь изредка мать отвечает:

— Нету бога, значит и греха нету.

— А это? — и Устиновна чувствует в темноте, что бабушкин палец направлен на нее. — Грех! Грех! Молись...

Мать лежит рядом с Устиновной на спине, раскинувшись, будто на поле, и все ее жаркое тело дышит.

— За что она тебя? — спрашивает Устиновна.

Но мать не отвечает — спит. Грудь ее тяжело и плавно вздымается, словно камень лежит на ней.

Ничего еще не понимает дочь и — счастлива потому. Не знает даже, почему бабушка зовет ее Устиновной, хотя по документам она Петровна.

В страшные военные годы, когда в деревне не осталось ни одного мужика, появился однорукий солдат Устин. Дело прошлое, чего греха таить, оставил он у нескольких вдов и девок по ребенку и исчез куда-то.

Вот и звала старуха свою внучку Устиновной, хотя родилась она после войны и был у нее отец — городской шофер, приезжавший в колхоз на уборочную.

Ничего не обещал он Арине, ничего даже не говорил, просто останавливал грузовик ночью во дворе, ел, пил, а утром отправлялся в путь.

В город он уехал не простившись.

Кабы плакала Арина, кабы жаловалась да прокляла бы себя вместе со своим грешником, да десятка рублей на божьи свечки не пожалела, молчала бы старуха.

Арина же гордо живот носила, улыбалась.

Когда родилась Петровна, старуха кричала:

— В руки не возьму! Грех! Отсохнут руки-то!

— А чего? — будто не понимая, спрашивала Арина, ласково подставляя большую налитую грудь к маленькому личику дочери. — Чего?.. Человека родила. Рази грех — человека родить?

— Грех!

— Не-е... еще рожу... мальчонку рожу...

— От кого?

Вздыхала Арина и отвечала:

— А хоть от кого. Все одно мой будет. — И даже в голосе ее было это желание, будто и не мучилась муками, будто и не ведала, что грешит, а доброе дело делала.

Полюбила старуха внучку, но не рада была своей любви: с укором смотрели потемневшие лики святых, молчали, пугали. Ох, недовольны были!

Однако совсем было свыклась бабушка со своим горем, но опять Арина стала ночами уходить из дому, возвращалась под утро и будто светилась вся.

Увела дочь в огород, прижала к себе, выдохнула теплым голосом:

— Братик у тебя будет... хороший такой братик...

— Когда?

— К весне. В сельпо куплю.

Устиновна не спала, ожидая мать. А та идет, издалека слышно — песни поет.

Скрипнула дверь.

— Бог-то все видит! — кричит старуха.

— Нету для меня бога, — радостно отзывается мать, — нету. А если есть, плевала я на него. Живая я. На — пощупай, какая.

— Тьфу!

Арина громко и хорошо смеется, говорит напевно:

— От моих грехов люди родятся. Рази плохо это? Спроси-ка у них, — она показывает на иконы и снова смеется.

— Из дому уйду, — старуха стучит костлявыми пятками по полу, — прокляну...

Арина опрокидывается на постель. Устиновна шепчет:

— А почему в сельпо братика хорошего родить будешь? Боишься здесь?

— Не боюсь. Спи, Петровна...

— Умру вот, — бормочет старуха, — в сраме умру...

— Все порем, — сонно отвечает Арина, — а они жить останутся... Спи, Петровна...

И Петровна крепко и сладко засыпает, положив голову на мягкое плечо матери.

СОПЕРНИЦЫ

Шурка оделась быстро. Вот только что она металась по комнате непричесанная, в коротком халатике на одной пуговице, и вдруг Настя увидела, что подруга уже в платье, в резиновых ботиках, а розовые руки заканчивают укладывать прическу из густых рыжеватых волос.

Она стоит перед зеркалом, невысокая, круглая, горячая, дышит громко. Губы у нее пухлые, крупные; вздернутый широкий нос придает лицу глуповатое выражение, которое усиливается еще и тем, что Шурка нещадно красит брови — получаются подковообразные линии одинаковой толщины с обоих концов. Красить губы Шурка не решается, хотя каждый раз берется за тюбик помады и, вздохнув, откладывает его.

— Ох, и здоровая я, — жалобно говорит она и с ненавистью, с брезгливостью даже взглядывает на свою грудь. — Кому ничего не досталось, а мне вот отвалил господи, хоть на троих дели... И тут! И тут! И там! — она сильно хлопает себя по телу. — И ведь ем-то не больше других... Ну ладно, ладно, — угрожаю-

ще продолжает она и, налив в ладонь цветочного одеколона, снова хлопает себя, но уже бережно. Комната наполняется приторным запахом сирени.

Настя молчит. Она старается не обращать на подругу внимания и шепчет химические формулы.

А Шурка втирает ваткой пудру в наливные красные щеки и говорит, говорит:

— Сколько я обид из-за этого стерпела! И как только не обзывают! Булка, батон, тумбочка, — деловито перечисляет она, — бочка, дыня, арбуз, пиццетрест... За что страдаем? — с пафосом спрашивает она и глубокомысленно отвечает: — Всё за то же.

Она одевается в мохнатую полудожку и становится похожей на медвежонка.

Шляпка у нее с пером. Оно опускается и закрывает Шурке левый глаз. Она воюет с пером, тяжело отдуваясь, и, наконец, заправляет его под шляпку, победоносно взглядывает на подругу.

— Красоты у тебя... — насмешливо произносит Настя.

— Килограмм сто, — серьезно добавляет Шурка. — Сказывают, если на голых досках спать, похудеешь в один момент. Так я что, дура? Перину в прошлом году купила, а теперь...

— Иди, иди, — просит Настя.

— Лечу! — Шурка попеременно придает лицу то гордое, то лукавое, то презрительное выражение, поворачивается к выходу, и конец пера снова выскакивает из-под шляпки.

— Оборви ты его, — советует Настя.

— За него деньги плачены, — бормочет Шурка. — Без перышков все носят. А с перышком у меня да у Зинки из шестой столовой. — Она укрепляет перо прежним способом и ударом колена открывает дверь.

Оставшись одна, Настя откладывает учебник и вытягивает длинные стройные ноги, положив их на спинку кровати.

Вечерами Насте всегда грустно немного, но грусть эта светла и даже приятна. Она приносит с собой такие мечты и желания, о которых Настя никому не рассказывает. Легко быть на людях холодной и гордой, а вот когда одна, хочется, чтобы приласкали по-настоящему, по-мужски.

Потом Настя подходит к зеркалу и встает на то самое место, где недавно стояла Шурка, разглядывает себя в зеркале. Она высока, тонка. Серые, с зеленоватыми искорками глаза смотрят грустно.

Иногда Настя кажется себе красивой, но уверяет Шурку, что главное в девушке душа, характер.

— Блажь! — кричит в ответ Шурка. — У меня мать вроде профессора была, все понимала, добрая была — дальше некуда, а толку? Муж попался — не приведи господь. А Зинка из шестой столовой? Ворует — раз, дура набитая — два, сплетница — три... — и Шурка один за другим погибает все десять пальцев. — Так ей в один день трое предложение сделали. Потому что у нее фигура! А у меня?! — и она так бьет себя кулаком в

грудь, что кулак отскакивает. — У меня душа, знаешь, какая! А толку?

Насте и смешно, и горьковато слышать это.

— Ты на танцы ходи, — страстно нашептывает Шурка, — тары-бары разные, то да се... Книжки тут не помогут. В вечерней школе этому не научат.

Каждый раз подобные разговоры заканчиваются тем, что Настя раскрывает учебник, а Шурка топает в клуб.

Вот и сегодня Настя зубрит формулы.

Над ее кроватью висит на голой стене расписание уроков. Постель плоская — мочальный матрац, подушка казенная — маленькая, одеяло — тонкое, серое.

Над Шуркиной кроватью — глаза разбегаются, сколько всякой всячины прибито, приклеено, навешано. Тут и артисты, и цветочки, и птицы-звери, а в самом центре обнаженная красавица из старинного журнала, которую Шурка сама раскрасила сообразно своим представлениям о женской красоте. Брови у красавицы черные и широкие, губы красные и толстые, коричневые глаза вылезли из орбит.

На кровати пышная перина, покрытая толстым одеялом с узором из разноцветных треугольников, шесть подушек — целая пирамида.

Комсорг буровой конторы Федя Локтев, близорукий, застенчивый паренек, в которого Шурка тайно влюблена уже не первый год, пытался намекнуть ей, что от красавицы из старинного журнала пахнет буржуазным влиянием, и даже пригрозил конфисковать рисунок собственными руками.

Шурка заявила, что от красавицы пахнет всего-навсего мучным клейстером, буржуазия тут ни при чем и что если у нее, у Шурки, красавицу отберут, то юна себе такого красавца повесит, что он, Федя, ахнет.

Федя ахнул и больше на эту тему с Шуркой бесед не имел. Она, желая закрепить победу, выкрасила красавицу с головы до ног в оранжевый цвет.

Думая о Феде, Настя повышает голос, чтобы сосредоточиться на формулах...

Шурка, конечно, вернется поздно, сразу разденется и с куском хлеба и сахаром залезет под одеяло. Утром Настя увидит, что лицо подружки искажено страдальческой гримасой — спит на огрызке сахара или хлебной корке.

Чтобы отогнать мысли о Феде, Настя читает формулы нараспев. Говорят, что влюбляются чаще всего друг в друга противоположные натуры, и, если верить этому, Шурка не зря однажды простонала во сне: «Феденька-а...». Правда, Федя Федей, а на танцы она бежит и может на память перечислить — кто, когда и как на нее посмотрел, как держал во время фокстрота (любимый Шуркин танец). А Настя любит вальс, танцует, закрыв глаза, и только с Федей.

Настя повторяет формулы, уже не глядя в учебник, и на душе у нее становится радостно.

А вдруг Шурка права? Работает себе касиршей в столовой, высунув от усилия язык, пишет чеки, ругается, хохочет, с работы приходит веселая и — на танцы. Настя работает лебедчицей, весь день на жаре, или на моро-

зе, или под дождем, к вечеру еле ноги переставляет и вместо танцев — уроки.

Под окном яростно заскрипел снег, хлопнула дверь, и удивленная Настя увидела, что глаза Шурки полны слез.

Она швыряет шляпку и полудошку на кровать, срывает с ног туфли и, задрав платье выше черных трусов, расстегивает резинки, стягивает чулки.

— Порвешь, — испуганно говорит Настя.

— И порву! — всхлипывает Шурка, растирая руками багровые от мороза ноги. — Наплевала я на них девяносто шесть раз! — Она одергивает платье и спокойно произносит: — В общем, было дело под Полтавой. Организуй-ка мне кипяточку душу согреть... Подошел он это ко мне, очки наставил и ка-ак трахнул: «Вечно ты по танцулькам!». А он, видите ли, в читальный зал пришел. И куклой еще меня обозвал. Сидишь, говорит, в своей кассе без стыда, без совести. На тебе, на мне то есть, — уточняет Шурка, — бурильные трубы возить можно, а ты стул давишь... Эх, Федор... В очках, а души моей не понимает. Ему, помняни мое слово, фигура нужна! Хотела я ему про любовь свою сказать, да... Я по дороге так решила: тоже читать буду. Порошков каких-нибудь наглотаюсь, чтоб ко сну не тянуло, и будь здоров! Ты мне подбери что-нибудь веселое.

Забравшись под одеяло, Шурка принимает озабоченный вид и раскрывает книгу.

Настя, прижавшись грудью к столу, чтобы уgomонить подпрыгивающее сердце, ласково

шепчет формулы и вздрагивает от стука упавшей на пол книги.

Во сне Шурка громко и обиженно посапывает.

Настя целует ее в щеку.

ДВЕ ЧАШКИ КОФЕ

Тогда, сразу после войны, трудно было жить — продукты еще выдавались по карточкам.

Борька Гурфинкель, мой лучший друг, учился в одном из ленинградских институтов, и его мать Ксения Антоновна жила впроголодь, чтобы к приезду сына на каникулы иметь запас еды. Борька, что называется, отъедался и уезжал. Мы оставались на перроне, я ждал, пока выплечется Ксения Антоновна. Потом мы пешком тащились через весь город (ночью трамваи не ходили). Дома, засыпая, я слышал приглушенные рыдания. Вот так было, а Борька считал свою мать человеком с будто бы железными нервами. Он-то ни разу не видел ее плачущей.

Однажды мы вернулись с вокзала под утро и настолько устали, что долго сидели молча, вытянув ноги. Хотелось есть, но не было ни крошки хлеба.

— По чашке кофе еще осталось, — сказала Ксения Антоновна. — Сразу будет легче.

Кофе я выпил залпом и лишь тогда заметил, что на столе нет второй чашки. Ксения Антоновна виновато улыбнулась и развела руками.

Ложиться спать уже не было смысла, и мы разговаривали о Борьке. Странно: когда он был рядом, Ксения Антоновна боготворила его, а когда он уезжал, повторяла:

— Не то... не то...

Борька тогда был влюблен и страдал, потому что чувство его осталось без ответа. Точно такая же история происходила со мной, но я больше переживал за друга: Борькина страсть казалась мне выше, сильнее и благороднее.

Поэтому я защищал Борьку, а Ксения Антоновна отрицательно качала седой головой.

Она почти всегда была в стареньком темно-коричневом платье, с глухим воротничком, с кармашками на груди. Глаза у нее отечные, но лицо гладкое, почти без морщинок.

Такой она и осталась, когда сын стал уже Борисом Абрамовичем, начальником технического бюро цеха большого машиностроительного завода. Мы гордились Борисом.

У меня была знакомая студентка медицинского института Сонечка, высокая, смуглая южанка. Красивая и холодная, к представителям противоположного пола она относилась абсолютно равнодушно. Это я испытал на себе и, еще не успев влюбиться, понял, что Сонечке просто надоело с утра до вечера ощущать восторженные взгляды. Вокруг нее всегда крутилось больше десятка молодцов, один лучше другого, и никто не добился успеха. Я был при ней чем-то вроде пугала, защиты от ухаживаний. Сначала мне это было даже приятно.

Сонечка могла часами молчать: поставит

перед собой зеркало, смотрит в него и молчит. Но она была так красива, что и я мог часами молчать с ней рядом.

Держалась она удивительно вяло, словно только что проснулась, ничего и никого не видела вокруг. И лишь в магазинах Сонечка оживала — нервничала.

Скоро мне надоело быть при ней, тем более, что я познакомил Сонечку с Борисом, и он не скрывал радости, увидя, что я собираюсь домой и оставляю их молчать вдвоем.

Навещая Ксению Антоновну, я засиживался допоздна, однако Борис приходил еще позднее. Мне не терпелось узнать, что у них там происходит, но Ксения Антоновна была осведомлена не больше меня.

В субботу я засиделся дольше обычного. Пришел Борис, будто не заметил нас, остановился перед зеркалом, расчесал свои белокурые волосы, сказал мечтательно, удовлетворенно:

— Вот...

Лицо Ксении Антоновны исказилось страдальческой гримасой — поняла, что случилось, но спросила деланно веселым тоном:

— Зарплату получил?

— Зарплаты, мамочка, почти нет, — со смехом ответил Борис. — Купил Сонечке часы... Как-нибудь выкрутимся. Надеюсь, ты...

— Надо полагать, она довольна?

— Вы не представляете! Она... — он осторожно прикоснулся пальцами к своей щеке. — Она поцеловала меня.

В общем, пахло свадьбой.

А тут пришла весть, что Бориса направляют на постоянную работу в МТС.

— Как же Сонечка? — спросил я, потому что этот вопрос был в глазах Ксении Антоновны.

— Поеду, устроюсь, — хмуро ответил Борис, — тогда и сделаю предложение.

Мы с Ксенией Антоновной в один голос заявили, что если на то пошло, то предложение надо делать сейчас (я был уверен, что Сонечка в колхоз не поедет). Но Борис предложил Сонечке руку и сердце в тот день, когда стало точно известно, что он остается на заводе.

И снова в комнате Ксении Антоновны все стало примерно так, как несколько лет назад: пустота и ожидание. Длинными вечерами мы сидели и молчали, а взглянув друг на друга, произносили:

— Не то...

Много слез утекло с тех пор.

Иногда ненадолго забегал Борис, шумно рассказывал о своих производственных успехах, перечислял подарки, которые сделал жене. Еще реже приходила Сонечка, красивая, конечно, но уже не та, что в студенческие годы, тогда она была пленительней.

Борис исхудал — результат так называемых приработок, а проще говоря, шабашек. Он выступал с лекциями, преподавал в вечернем институте, руководил дипломным проектированием и практикой студентов, писал статьи и брошюры — это помимо основной работы.

Стороной я узнал, что Сонечка бросила учебу. Долго я не решался сообщить об этом Ксе-

нии Антоновне, а когда собрался, то застал ее с Борисом в разгар ссоры.

— Почему она Воронова, а не Гурфинкель? — спрашивала Ксения Антоновна. — Ведь она вышла замуж за Гурфинкеля!

— Это ее право, — раздраженно отвечал Борис, — законное право.

— Я была в свое время Огородниковой, вышла замуж за твоего отца и взяла его фамилию. Мать прокляла меня. Еще отец заметил у тебя это... понимаешь?

Затем пришло радостное известие — родилась Машенька. Ксения Антоновна спрашивала меня:

— А у нее какая будет фамилия?

Сына об этом она не спрашивала.

По-прежнему при нем она не плакала.

Однажды у меня кончился кофе, денег не было, и я отправился к ней.

— У меня ни зернышка, — сказала Ксения Антоновна. — Подождем до зарплаты.

— Эх вы, кофейные души! — воскликнул Борис. — У меня в сумке на заварку наберется. Вчера из кулька высыпалось.

Ксения Антоновна сидела сумрачная, неподвижная, лишь изредка хваталась за горло — поправляла воротничок темно-коричневого платья. Я понял: опять здесь ссора.

Каждому досталось по чашке жидкого кофе. Борис выпил свою порцию залпом и прохаживался по комнате. Я раздумывал: то ли он ищет повода уйти, то ли ждет, когда я уйду.

Молчали.

Проходя мимо буфета, Борис локтем задел сумку. Она наклонилась, и на пол застучали кофейные зерна, полились ручейком.

Борис захохотал, стал собирать зерна, объясняя, что кофе он купил соседке, а она такой человек, что не поленится проверить вес.

— Конечно, конечно, — бормотала Ксения Антоновна, — собери все до зернышка... чтобы не было лишних разговоров. Поцелуй внучку, она ни в чем не виновата...

И лишь когда хлопнула дверь, Ксения Антоновна расплакалась.

Кофе я допил уже холодным.

МАДОННА

Жила Анна во флигельке — остатке прежних деревянных построек — среди огромного двора, образованного тремя новыми высокими зданиями.

Мимо людей она проходила торопливо, опустив голову.

Однажды загляделся Егор на нее, и глаза до боли сузились, так пристально смотрел, каждую складочку на платье высмотрел. Он подмигнул, спросил:

— Может, выглянете во двор на минуточку? Народ тут вами интересуется.

Пожала Анна плечами, не остановилась, прошла. Тогда Егор и сказал негромко, на пробу:

— Ишь... мадонна какая!

Что такое мадонна, Егор толком не знал, но был уверен: слово это ругательное. Не матерщина, конечно, а что-то вроде чертовки, например, или ведьмы.

Куприяновна, высокая, жилистая старуха, проговорила:

— Такая уж не подпустит, не-ет, — и на Егора покосилась.

Он выплюнул папиросу, раздавил сапогом и ответил:

— Знаем, встречали.

— Нет, нет, — повторила Куприяновна, — бывают такие.

Прозвище пристало к Анне накрепко, всем казалось, что подходящее слово выдумал Егор.

Среди молодых мужчин из новых домов он был не последним. Высокий, белокурый, глаза голубые — легко по земле ходил: погуливал, да не забывался, пил, да не напивался. Не одно и не два девичьих сердца разбил он, даже и женат был, говорят, но без отметки в паспорте.

Работал Егор слесарем-лекальщиком по седьмому разряду, понятия не имел, что такое тянуть рубли от получки до получки.

В комнате у него чисто и богато. Все здесь есть: и радиолa, и диван, и ковер, и скатерть дорогая.

По вечерам иногда Егор концерты устраивал: выставит радиолу на подоконник, включит на полную мощность и давай пластинки крутить. Пусть люди слушают, не жалко!

А тут забыл о любимом развлечении, сидел, в пол смотрел.

— Нездоровится? — спросила мать. — Может, принесть бутылочку?

Егор кивнул, но без охоты, просто так — чтоб не мешала думать.

Когда Наталья Власовна вернулась из магазина, сын сидел в той же позе. Стопку выпил будто воду, опять же без охоты или интереса. Потом достал пластинки, которые купил в прошлое воскресенье и еще не слушал.

Грустно и тонко пела мандолина. Тоскливо

пела и нежно. Жаловалась, должно быть. И когда она была уже не в силах выразить печали, запел мужской голос:

— Ма-адонна...

Вздрыгнул Егор, вытянул шею, но ни слова разобрать не мог: чужая была песня, не наша.

— И чего это ты купил? — спросила мать. — Мадонну какую-то. Уж не про флигельщицу ли?

— Налей-ка! — решительно сказал Егор, одним духом выпил стопку и к дверям; быстро прошел через двор и постучал во флигелек.

Лицо Егора стало растерянным; когда он увидел Анну.

— Можно? — спросил он, осторожно выговори́в слово, будто оно было горячее.

— Что можно?

— Да так...

Одинакового с ним роста, широкая в плечах, Анна вблизи не такая красивая. Вон и морщинки у серых равнодушных глаз и складочки над бледными губами.

— Мадонной я вас... Обиделись?

Анна поправила вырез в халате, сказала:

— Мальчик вы еще. Глупенький.

И ушла.

Вернулся домой Егор, одну за другой две стопки выпил, проговорил задумчиво и удивленно:

— Нравится она мне.

— Господь с тобой! — мать даже руки раскинула в стороны, будто дорогу загораживая. — Стара ведь она, получше можешь найти.

— Действует она на меня. Понимаешь?

— Да как не понять... Женщина ведь она. В юбке. А ваш брат...

— А-а! — Егор в сердцах махнул рукой. — Женщина. Не в этом дело. Если бы насчет женщины, тут недолгий разговор. А она... — и вздохнул так тоскливо, что Наталья Власовна откапала себе валерьянки на три капли сверх нормы.

Только через неделю Егор появился вечером во дворе, сел на скамеечку против флигелька.

— Мадонна-то твоя... — начала Куприяновна, но Егор процедил сквозь зубы:

— Изыди...

— А ты послушай, послушай, — на ухо ему торопливо зашептала старуха. — Машинисткой она состоит и еще кое-чем занимается. И до того опозорилась, что в другое учреждение сбежала и жилплощадь переменила, в наши, значит, края перебралась.

Стемнело. Подошла Наталья Власовна, чуть не плачет:

— Сидишь сиднем, ровно больной. Погулял бы или что... Принести бутылочку?

— Не мешай, мать.

И так каждый вечер. Не на шутку встревожилась Наталья Власовна, рассказывала Куприяновне:

— Не спит. Папироски да спички перед собой на стул и дыми-ит. Где-то на утре только и вздремнет часок-другой. А то еще читает.

— Окрутит она его! — со страхом отвечала Куприяновна. — Помяни мое слово, окрутит! Люди мне сказывали, что непутевая она, ух, какая непутевая!

Заводские девчата заметили, что Егора будто подменили. Раньше ни одной прохожу не давал, уж если не руками, так глазами обя-

зательно ущипнет, а тут улыбается, и улыбка у него вроде бы виноватая.

Как-то вечером Егор зачитался, пришла Куприяновна и пробормотала испуганно:

— Мадонна тебя кличет!

Егор вскочил и бросился к выходу.

Вслед заплакала Наталья Власовна.

По лестнице Егор спускался медленно, соседа встретил, не поздоровался — не заметил.

Анна сидела на скамеечке, положив ногу на ногу, спросила:

— Что же дежурить сегодня не вышли? Привыкла я вас на этом месте каждый вечер видеть. Знаете, женщине всегда приятно, когда к ней хорошо относятся.

Насторожился Егор — по голосу учуял: другая Анна перед ним, не мадонна, о которой песня есть, а такая, каких он много встречал, какие в душе и следочка не оставляют. Но не поверил себе, как не верил Куприяновне; заговорил:

— Вот как охота после работы в чистое переодеться, так мне перед вами человеком быть охота... Встретил я вас и... вроде бы в темной комнате лампочку зажгли, сразу видно стало, что беспорядок в комнате-то... Смешно это, конечно...

— Почему смешно? — испуганно перебила Анна.

— Да потому... впустую я это говорю... Не верите ведь?

— Странно все это, — задумчиво ответила Анна.

— Мадонна, — с усмешкой продолжал Егор. — Ерунда получилась. Узнал я это слово.

Богородица, значит. Или еще к женщинам так .
обращаются, которых очень уважают.

— Уважают? — переспросила Анна. — За что?

— Не знаю. Да и невелика важность за что...
Такая история... уважаю и всё тут.

Анна быстро поднялась.

— Да вы что... — Она руками закрыла вырез
в халате, пробормотала и неуверенно, и радостно: — Холодно мне... спокойной вам ночи.

И убежала.

Егор ушел за ворота и долго еще бродил по улицам.

Два дня спустя к флигельку подкатила полуторка. Мальчишки помогли грузчикам сложить в кузов вещи. Подойдя к кабине, Анна оглянулась и посмотрела вверх, туда, где на подоконнике стояла радиола.

Над крышами домов, не опускаясь к земле, плыл голос:

— Ма-адонна...

НИКИФОРОВ

— Десять лет уплыло, как Даша померла. Хорошая баба была, а померла. Бросила, значит, меня одного. Скучища без нее, ровно не к чему жить одному-то...

Поперек Камы шевелится лунная дорожка, и кажется, что светло именно от нее, а не от луны. Сюда, на высокий крутой берег, ползет прохлада, густая и влажная.

Старик негромким простуженным голосом говорит:

— Я без реки жить не могу. Трудно дышу без реки-то. Только на берегу и отхожу, вроде бы лекарство какое принимаю... Даша, еще когда живая была, окунем меня дразнила. Смолodu она красивая была, сильнющая. Купаться, помню, на косу поедem, разденется она у воды, а у меня от красоты ее ноги отнимаются. Хоть бы всю жизнь смотрел... Никифоров тут один был. Еще раньше меня сватался. И всю-то жизнь он про Дашу думал. Как на своем «Ретвизане» мимо идет, вот тут, так гудит. Приветы ей, значит, посылает.

Где-то внизу на тропинке послышались веселые голоса и смех. Старик замолчал. Цigarка вспыхивала ярким синеватым пламенем.

Когда голоса растаяли в темноте, старик продолжал неторопливо:

— Потом старость приковыляла. А мы еще лучше жили. Ночью если сон страшный увижу, рукой пошевелю — жена рядом, и успокоюся... Денег у нас сроду не было. На что они? Даша хорошая больно была. Только Никифоров этот среди ночи иной раз как вскрикнет. А гудок у «Ретвизана» жалобный был, будто человеческий... Во-от... Десять лет я без Даши вытерпел, с каждым годом все больше об ней думаю... Померла, а я больной сделался. Каждая косточка у меня болит, каждый позвонок. Весь я больной, сверху донизу. Раньше, бывало, занеможу, Даша меня в баньку да как венником всего исхлещет, и нету хворости...

— А где сейчас Никифоров? — спрашиваю я, но старик, видимо, не слышит и продолжает:

— Годов восемь назад сообразил я жениться. Ага. С горя значит. Ведь встанешь утром — один, днем — обратно один, ночью — тоже... И нашел я себе тут на рейде молодую. Толстую, веселую. Иду как-то вот здесь по берегу, а мимо «Ретвизан» плот тащит и... ага, гудит. Стыд меня заел... вот как голодный косточку обглаживает, так меня стыд... На пенсию Никифоров ушел и тоже помер. Недавно. Теперь сын у него по Каме плавает... Сегодня капитаном в первый рейс идет. На «Ретвизане», на новом...

Кругом тишина. Но чем больше я вслушиваюсь, тем сильнее убеждаюсь в ее обманчивости. Со всех сторон доносятся звуки и шорохи, и даже сама река не безмолвна, она словно дышит,

Старик молчит, и чтобы продолжать разговор, я спрашиваю:

— А как здоровье у вас? Сердце?

— А ну его, сердце-то. Дурака валяет. То скачет, то останавливается. К врачам меня направляли, анализы со мной делали. Стыдно сказать, чего я только в больницу не носил, чепуху разную в баночках да бутылочках... Тьфу! Лекарства потом всякие пил. На что?

— Детей у вас не было?

— Трех войне скормили.

Сквозь лунную дорожку прошел катерок, и часть ее некоторое время тянулась за ним.

— Шу-умная река стала, — говорит старик. — Ране, бывало, в дальние-то годы, в день один-два парохода мимо прошлепают, а ныне... и теплоходы тебе, и паротеплоходы, и вообще всякие... Многие ночи у меня без сна. На берегу сижу. А дома если, от каждого гудочка-свисточка просыпаюсь. Все мне охота «Ретвизана» послушать... А Никифоров-то... он тоже плотоводом был... Считай, полжизни у меня под ногами палуба, и на земле-то я вроде бы в гостях...

Видно, что от реки начинает отделяться туман. Тает луна. Исчезает дорожка. Мы долго сидим молча. Я не жалею, что опоздал на трамвайчик и вынужден коротать ночь на берегу.

Река дымится.

— Вот так, значит, — задумчиво произносит старик, — тяжело на реке работать, тревожно... — Он снимает выгоревшую капитанскую фуражку, рукавом проводит по лысине. — Не идет что-то никифоровский сынок... Нет, вон показался.

Старик резко поднимается, суетливо надевает фуражку.

Сверху — расплывчатым пятном с сигнальными огоньками — приближается буксир.

— «Ретвизан»... «Ретвизан»... — шепчет старик, будто зовет.

Все яснее проступают очертания широкободного судна. Оно дышит шумно, трудно.

Буксир напротив нас. Канат, соединяющий судно с длинным плотом, не виден, но даже отсюда, издали, я чувствую, что он есть, мне кажется, что я слышу, как он звенит от напряжения.

Пусто на капитанском мостике. Спит молодой Никифоров...

Лицо у старика растерянное, он пытается улыбнуться, шарит сзади руками, как делают, когда нащупывают стул.

И когда старик опустился на скамейку, мощный крик гудка ворвался в утреннюю тишину и, радостный, густой, стал подниматься все выше и выше...



ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГУЛ ДАЛЬНИХ ПОЕЗДОВ

Алле Поповой

I

Я любил ездить и не любил уезжать: ведь разлуки случаются все, а иным встречам и не случиться.

А она пришла и сказала:

— Он уезжает сегодня. Купил два билета. Велел мне приходить на вокзал... Уведи меня куда-нибудь и не отпускай. Ладно?

Ночь на маленькой, испетлявшейся среди лугов, лесов и полей речушке. Всплески рыбы, журчанье воды в гальке, пенье птиц да говор деревьев. Темнота и костер. Потом утро. Туман. Роса. Свежесть. Солнце.

Вот это я и предложил Валентине. Больше у меня ничего не было.

Она не слушала, но когда я замолчал, кивнула.

II

А он не любил ее и поэтому взял от нее лишь то, что можно взять от первой встречной.

Не подумайте, что он был красив или умен. Ничуть. Вообще, неправда, будто бы женщины

предпочитают красивых или умных. Нет. Женщины любят мужчин.

Кожа у Кости была темно-смуглая, почти черная; волосы ежиком; весь он был сухой, пружинистый, будто готовый к прыжку. Он приносил с собой тысячи запахов — леса, лугов, горячей земли. И если у неба есть запах, этот парень приносил и его.

Наверное, Валентина была для Кости просто частью природы, которой он привык наслаждаться и в которой чувствовал себя хозяином.

Помню, сидели мы у костра — несколько километров вниз по течению от железнодорожного моста. Когда по нему проходил поезд, звуки скользили по воде и прилетали к нам.

Услышав гул впервые, Костя вздрогнул, переждал, пока не стихло, и сказал:

— Люблю жить вот так! — он палкой разворошил костер, и пламя беспорядочными языками метнулось вверх, разлетелось в стороны; с треском посыпались искры; дым и огонь пахнули мне в лицо. Я испуганно отодвинулся, протирая слезящиеся глаза, а Костя повторял, веселый и взбудораженный: — Вот так! Вот так!.. Черт возьми, — после молчания проговорил он, — я до сих пор не знаю, глупа природа или умна? Люди глупы — это точно. Природа наделила нас массой желаний, навывдумывала массу соблазнов. А люди напридумывали множество ограничений для удовлетворения естественных потребностей. Естественных! — многозначительно повторил он. — Я завидую, к примеру, птицам.

— Но ведь и им приходится бежать от зимы, гибнуть в пути...

— Птиц тянет на юг, и они летят. Пусть даже на верную смерть. А мы, люди, — с презрением продолжал Костя, — мы на каждом шагу ограничиваем себя, бежим от природы, давим естественные желания. Того нельзя, этого нельзя... — он плюнул в костер.

Может, это была вспышка ревности — я почти закричал:

— А не завидуешь ли ты животным?

— Обязательно, — насмешливо ответил Костя, — а что? Вы, любители громких фраз и тощих истин, вы же ни черта не смыслите в живой жизни. Вы закрылись от природы стеной норм поведения и прочей белибердистикой. Вы признаете ее только потому, что не нюхали настоящей жизни. А у меня в жилах течет кровь. Понимаешь? Я живой. Почему же я должен сдерживать желания, если получил их от природы?

В это время по далекому мосту проходило, видимо, два встречных состава. Гул по реке прилетел к нам.

— Слышишь? — торжествующе спросил Костя. — Если я завтра захочу, то сяду в поезд и умчусь, куда глаза глядят. И никто, и ничто не удержит меня. Ездить я не люблю, но люблю уезжать — расставаться...

— Можно разворошить палкой костер, — перебил я, чувствуя себя беспомощным, — на мгновение он будет прекрасен. А если надо сидеть у огня долгую холодную ночь? — Пламя жарко дышало мне в лицо, а за спиной были холод и темнота, страх и неожиданности. — Ты живешь не по-нашему, не по-советски, — закончил я.

Костя вскочил. В плотной тишине голос его прозвучал подобно короткой пулеметной очереди:

— Ты вздыхаешь о ней, а я... — и он захохотал на весь лес.

Я бросился в темноту. Казалось: со всех сторон на меня идут поезда.

III

Валентина часто приходила ко мне помолчать. Потом я провожал ее, и у калитки она говорила:

— Спасибо.

Иногда, когда тоска бывала особенно сильной, Валентина протягивала мне руку.

Помню, пришла она вечером, сняла туфли, села на диванчик, поджав ноги. Я спросил, впервые не сдержавшись:

— Неужели у тебя нет силы воли?

Валентина ответила:

— Видимо, нет.

— Неужели ты не можешь взять себя в руки?

— Не могу.

— Неужели ты не понимаешь, что он...

— Понимаю.

— А знаешь, что в его жизни ты...

— Знаю.

— Тогда почему...

— Не знаю.

У нее был высокий гладкий лоб, почти прямые брови, большие серые глаза. Линии крупного рта четкие, будто проведенные тонким пером.

— Что же получается? — спросил я. — Выходит, что он прав?

Она пожала плечами.

— Ведь он обманул тебя и...

Валентина перебила возмущенно:

— Он меня не обманывал! — И тихо добавила: — Он мне ничего не обещал.

— Да, но одно то, что вы стали... близки, само собой предполагает...

— А-а! — она раздраженно махнула рукой. — Все наши взгляды на жизнь не от жизненного опыта, а от рассуждений... Но ничего страшного не случилось. Я просто получила хороший урок.

Когда стемнело, Валентина встала. Я проводил ее до калитки и услышал:

— Спасибо, дружище.

Я почувствовал в себе незнакомую силу, властную, резкую, неумолимую и побежал.

В доме, где жили участники геологической экспедиции, горел свет. Я распахнул дверь пинком ноги.

За столом сидело пять человек. Среди тарелок и консервных банок торчали бутылки.

Костя долго, сощурившись, смотрел на меня; протянул стакан и приказал:

— Выпей за наши успехи.

Мне стоило больших усилий не ударить его по руке. Я взял стакан и сказал:

— За ваши успехи. За то, чтобы души ваши были такими же прекрасными, как ваша работа.

Странно: винные пары не бросились мне в голову.

— А почему вы считаете, что наши души нуждаются в ремонте? — спросил, недружелюбно взглянув в мою сторону, рыжий худощавый парень в красной ковбойке.

— Потому что среди вас есть мерзавец.

Ко мне подошел, пошатываясь, седой мужчина в белой майке, обтягивавшей расплывшееся тело. Он произнес, положив на мое плечо тяжелую руку:

— Если это так, мы... — и я чуть не застонал от резкой боли в плече. — Но если это не так... — я вырвался.

Мы с Костей встали. Он усмехнулся.

— Ждем, — сказал кто-то.

— Слушайте, — ответил я. — Жила-была чудесная девушка. Прекрасная девушка. Умная. Чистая. Честная. Точно такая, какие вам часто снились в юности. И нет ничего удивительного в том, что я полюбил ее. Я знал, что только она может сделать меня счастливым. И вот появился он — хороший парень, не правда ли?

Четверо его друзей ответили утвердительно.

— Хватит, — сказал Костя, — никого твоя болтовня...

Но его друзья велели мне продолжать.

И я рассказал обо всем, даже изобразил, как хохотал надо мной Костя у костра.

Он произнес с вызовом:

— Это фразы. А я иду к ней. Понимаешь? Сейчас. Понимаешь?

И Костя крикнул уже не мне одному, а всем нам:

— Я иду к ней! Ясно?

Когда хлопнула дверь, мне захотелось расплакаться, громко, обиженно, не сдерживаясь.

На мое плечо легла легкая рука. Я услышал глухой голос:

• — Бывает.

Это сказал мужчина в белой майке. Он стоял, покачиваясь, словно выбирая место на полу, куда упасть.

Рыжий парень проговорил:

— Ничего он этим не докажет... Черт с ним, он был хорошим топографом.

Мы просидели почти до утра.

IV

Валентина пришла без опоздания, сказала:

— Поезд отходит в час двадцать. Он уверен, что я поеду с ним.

Я шел впереди. Она следом.

— Вчера он был у меня, — проговорила она. Я спросил через несколько шагов:

— Ну и что?

Шелестела под ногами трава. Со всех сторон подкрадывалась пока еще светлая темнота.

Валентина расплакалась. Я ускорил шаги. Чем быстрее мы шли, тем торопливее и громче были всхлипывания. Я сказал:

— Хватит.

Надо было уйти как можно дальше, туда, куда не долетает гул поездов.

Кругом была темнота и тишина. Ее нарушали поезда. Они шли один за другим. И чем дальше уходили, тем, казалось, громче был их гул.

Мы разложили костер. Валентина сидела, цепко обхватив колени руками.

— Идем? — спросил я.

Она отрицательно покачала головой. Я смотрел то на костер, то на ее лицо.

Вдруг Валентина поднялась:

— Еще успею!

Я взял котелок, спустился к речушке, зачерпнул воды и вернулся к костру. Мне хотелось, чтобы пламя не погасло, чтобы его нельзя было потушить!

Зашипели угли, поднялись клубы пепла. Казалось, что из котелка льется не вода, а темнота.

Погас последний уголек, будто подмигнул мне: ничего, ничего, бывает...

Прорывая тишину в нескольких местах, летел гул дальних встречных поездов.

— Не пускай меня, — шептала Валентина, — ты обещал... — Она порывисто обняла меня — так, наверное, она обнимала подруг или мать — и тут же оттолкнула, побежала.

Мы бежали напрямик — сквозь кусты. Руки иногда натывались на деревья; по лицу хлестали ветки; на каждом шагу мы спотыкались. Я слышал тяжелое дыхание Валентины.

Вдруг я почувствовал, что не слышу ее. Именно — почувствовал, а не уловил слухом. Остановился. Тишина. Я медленно брел вперед.

И — со всех сторон на меня шли поезда, даже пролетали над головой. Они звали тоскливо, грозно, обиженно, возмущенно...

Я едва не налетел на Валентину. Она лежала на земле. Опустившись, я взял ее за плечи. Они вздрагивали почти в такт стуку колес. Потом Валентина притихла, вся вслушиваясь в него, впитывая его в себя.

Земля гудела. Земля звала.

Паровозный гудок перекрыл гул. Валентина хотела подняться, но едва я опустил руки — иди! — как она снова села.

Наконец, все стихло.

— Холодно, — сказала она.

Я пошел собирать ветки для костра.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ИВАНА ШАМЯКИНА

Иван Шамякин заболел.

Бледный, небритый, валялся он на кровати, высасывая папиросу за папиросой.

Потом вскочил и — к дверям.

А на улице дождь. Скоро рубашка облепила худое тело, русые волосы приклеились к голове.

Засунув руки в карманы, шагал Иван, будто знал, куда идет. Прохожие уступали ему дорогу: не потому, что догадывались о его недомогании, а потому, что он казался тим пьяным.

Шел он, шел, через весь город прошел, очутился на окраине. Ни дождя, ни ветерка он не замечал.

Ветерок был колюч.

Поежился Иван и остановился. Только тут он, собственно, и осознал, что промок и продрог.

Перед ним лежала неширокая улица из деревянных домиков, спрятавшихся за кустами и заборами. Небо было темно-серое, а улица, домики, зелень были все-таки веселые, вроде бы говорили: «Ничего, ничего, вот пообсохнем, и у нас здесь снова будет тишь да гладь да божья благодать».

Ветерок рябил большие, с черной водой лужи, похожие на озера.

Взбежал Иван на высокое крыльцо и поднял руку.

Так стучат, когда боятся: и того тише рука бьет, а по сторонам глядишь — не сбежались бы люди.

И тут же Иван пожалел: зачем он сюда пришел? Стучит-то зачем? Хоть бы не услышали!

Он уже ногу назад отставил, ступеньку нащупал... Ведь откроется дверь, увидит он человека одного, и вдруг не по себе станет ему, Ивану Шамякину? Виноват ведь он, душа изболелась, пустота в ней, в душе-то, хоть шаром покати.

Открыла дверь молодая женщина — человек этот самый. Звали ее Тося. По фамилии Козырева. Год рождения одна тысяча девятьсот тридцать третий. Пол женский. Социальное положение — служащая. Образование шесть классов. Наград, ученых званий, печатных трудов не имеет. Не судилась, не находилась, не участвовала и так далее...

— Ты? — спросила она больше удивленно, чем испуганно.

— Я, — ответил Иван, и спине стало жарко от колючего ветерка.

— Зачем? Чего тебе надо?

— Болею я... — вырвалось у Ивана. Замолчал он, ждал, что она скажет.

А она сказала:

— Входи... Входи давай.

«Не ходи, не ходи, не ходи», — простучало сердце, но Иван шагнул через порог и оказался в коридорчике, оклеенном веселенькими обоя-

ми — голубенькими, с серебряными листочками. Толкнув легкую дощатую дверь, он вошел в невысокую, с тремя окошками комнату. На подоконниках стояли цветочки в горшочках, обернутых цветной бумагой. На столике в углу радиоприемник «Рекорд», рядом патефон, на нем горка грампластинок.

Кровать деревянная, широкая — семейная. Пирамиды подушек с обоих концов.

Обои здесь грустноватые — синие цветы и полосочки.

С комода на Ивана удивленно смотрел розовый пластмассовый пупс. В руке у него связка сосок. В ногах — погремушки.

И еще раньше, чем увидел Иван за столом усатого смуглолицего мужчину, сообразил, что пришел зря; передохнул, будто собирался нырнуть, и сказал:

— Наследил я вам, — и стал смотреть вниз, чтобы спрятать глаза.

— Знакомься давай, — тихо предложила Тося, — это Антон.

— Очень приятно, — выговорил Иван, и каждое слово больно борозднуло по горлу; пожал крепкую твердую ладонь. — Живете как?

Молчание.

— Лучше всех! — будто спохватившись, громко ответил Антон и невесело хохотнул.

— Садись, — коротко сказала Тося.

— В ногах правды нет, — Антон хмыкнул, словно не в силах сдержать смех. — Садись, пропустим по сто пятьдесят кипяточку. Лучше, конечно, этой... Но — нам в делах необходим экономии режим! — и опять невесело расхохотался. Смех прозвучал как-то очень одиноко.

— Что нового? — спросила Тося, и от голоса ее в ногах Ивана появилась слабость — будто обняться позвала.

— Да вот заболел, что ли... — и дерзкая мысль о том, что они с Тосей говорят на непонятном Антону языке, взбодрила его. — Под дождь угодил...

— Шел дождь и два студента! — мрачно прогремел Антон, а Тося всхлипнула. — Опять? — деловито спросил он и пояснил Ивану: — Бывает... Женщина. Процесс производства у них особый. Спецтехнология. Я и предлагаю: полезно бы вместе кипяточку...

— Хочешь? — со слезами спросила Тося.

Иван поднял голову, увидел бездонные ее глаза, из которых в него шло горячее тепло, и радостно ответил, словно спрашивали его:

— Хочу.

— Академик! — насмешливо гаркнул Антон. — Всё понимает! — и, гулко стукнувшись головой о верхнюю перекладину в дверях, исчез за порогом.

А Иван смотрел на Тосю и видел ее всю. На ней была черная узкая юбка, каждый бугорок мускулов обтянут. Под капроновой кофточкой даже родинку меж лопаток видно. Нравилось раньше это Ивану, а теперь подумал: «Нехорошо, когда женщина для всех просвечивает».

— Усатый муж тебе?

Она кивнула.

— Пришел вот я, — вырвалось у Ивана. Тося повернулась к нему. Горячее тепло в ее глазах потухло. Она сказала:

— Поздно.

А он взглянул на ее грудь и вспомнил, такое вспомнил, что шагнул вперед с протянутыми руками. Тося остановила его взглядом и спокойно произнесла:

— Не твоя я теперь... — и зябко поежилась. — Женился?

— Собираюсь, — зло соврал Иван.

— Да уж пора бы, — и ни тоски, ни горечи, ни обиды не уловил он в ее голосе.

Подумал: притворяется; бросился к ней, обнял, но — руки сразу опустились, повисли.

— Ну? — прошептала она. — Чего остановился? Хватай давай, пользуйся как тогда. Ничего ведь тебе больше не надо.

Дверь распахнулась, Антон шагнул через порог, звонко стукнулся головой о перекладину, крикнул, заговорил:

— «Московская» — раз, икра кабачковая — два, икра баклажанная — три, сырок ярославский — четыре, сырок плавленый — пять, колбаска, кильки... Привет рублям от копеек!

Муторно что-то стало на душе у Ивана, решил: выпьет стопку или две и — прощевайте, черт бы вас побрал!

Пластмассовый пупс смотрел на него внимательно, с интересом.

— Где купили? — машинально спросил Иван.

— В универмаге, — ответил Антон. — Можем подарить. Нам он ни к чему.

— Да и мне не надо.

Тося сидела неподвижно, положив нога на ногу, выгнувшись, и Иван доказывал себе, что она нарочно злит его: дескать, посмотри, какую

бросил, ладную да вкусную; тебе сейчас по лужам топать, а мы с Антоном в тепле останемся — понимаешь?

Антон торопливо расставил стопки и тарелки.

— Бюджет у нас того... треск и писк. Ей вот на пальто купили, мне полуботинки на обе ноги по штуке. «Крокодил» выписали, чтоб жизнь веселее была... — он налил стопки. — Выпьем за то, чтоб скарлатины не было!

— Ну зачем ты... — Тося погладила его по руке.

— Знаешь зачем.

Иван подумал, что они говорят на непонятном ему языке.

— Да и душа у меня веселая, — грустно добавил Антон.

Он намазал кусок хлеба маслом, потом икрой, сверху положил сыр двух сортов, три кильки и зажевал.

— Душа! — зло повторил Иван, выпил, дернулся и невольно засмотрелся на Тосину грудь. — Главное в человеке, конечно, душа.

— Профессор, — с набитым ртом одобрил Антон. — Все бы так здорово соображали.

Ел он много, будто сам в гостях сидел.

Откусив у кильки голову, Иван спросил:

— А кому она, душа-то, нужна?

— Человеку, — еле выговорил Антон, снова набив рот закуской.

— Человеку, — Иван покосился на пластмассового пупса, который не сводил с него глаз. — А что такое человек?

— Ты человек. Она вот человек. Я человек. За стеной у нас люди живут. Не ахти какие, правда, но люди. Напротив через улицу

тоже. В городе. На всём земном шаре человеки живут. Ясное дело.

Хотел Иван заявить, что иногда человеку плохо живется, но Антон быстренько налил стопки и предложил:

— За то, чтоб человеков больше было!

Тося вскочила и — к окну.

Антон закусил губу, будто острая боль его схватила. «Ко мне она хочет», — решил Иван, улыбнулся, выпил, откусил у кильки хвост и сказал:

— Ваше дело простое. Пальто покупать да полуботинки. Одну пару купили, потом вторую, третью. И так далее, и тому подобное. Уа-уа заведете. Пригодится вам этот пучеглазик, — он кивнул на пластмассового пупса. — А, может, и двух еще заведете. А дальше?

Молчание.

— А дальше что, я вас спрашиваю!

— Им полуботинки покупать станем, — тихо ответил Антон, продолжая закусывать.

Иван встал, произнес, наслаждаясь каждым словом:

— Жуй, жуй... пережевывай... Руки мой перед едой. Уважай труд уборщиц. Переходи улицу в указанных местах. Так?

— Правильно. Быстро же ты захмелел. А с виду крепкий.

— И ты с виду ничего.

Помолчали.

— Образование у тебя какое? — спросил Антон.

— А чего тебе мое образование?

— А оно играет большую роль. Дурак себя любит. Умный — других. Закон природы.

Тяжело опустившись на стул, Иван попросил:

— Плесни-ка. Быстрее выпьем, скорее уйду.

— За то, чтоб все здоровые были, — Антон выпил и с прежней старательностью продолжал закусывать. — А совесть у тебя есть?

— В норме.

— Тогда жить тебе, конечно, туговато.

— Без совести, выходит, легче?

Выждав, пока с наколотой на вилку кильки скапал рассол, Антон прожевал ее, ответил:

— Само собой. Закон природы. Чем человек лучше, тем ему труднее. Горе от ума — слышал? Дурак, подлец — ему что? Плюнуть, к примеру, захотел, ну и плюнул, где стоит. А честный человек плевать-лицу ищи.

Иван думал, что Антон сейчас расхохочется, но тот даже не улыбнулся, произнес, глядя ему в глаза:

— Или такие есть — обкрутит девушку, лишит ее одного качества...

— Подожди, — хрипло остановил Иван, — чего ты меня учишь? Святой ты, что ли?

— Не святой. У меня недостаток есть. Один, правда, но здоровенный. Мозги у меня, понимаешь, не ахти какие. Малогабаритные, так сказать... Ты меня учил, теперь я тебя учить буду. По-своему.

— Кончайте давайте, — донесся тихий Тосин голос, — устала я.

Иван ударился локтями о стол, уронил голову на руки. Знал: бежать надо, пока не поздно, а сидел.

Антон ловил в банке последнюю кильку.

— Приляг, — сказал он Тосе, — посуду я выполоскаю.

— И пол подотру, — едко добавил Иван.

— А в субботу белье стирать буду, — Антон резко встал.

— А она? — испугавшись его взгляда, почти крикнул Иван. — Она что делать будет? Книжонки почитывать?

— А она в школу пойдет, — Антон шагнул к нему.

— В какую школу? — Иван попятился к двери.

— В вечернюю школу рабочей молодежи номер сорок восемь... — и Антон прислонился к косяку.

Путь был отрезан. Иван закурил, махнул рукой, но спичка не погасла, обожгла ему пальцы.

— Мне пора, — голос его пересох.

— Я провожу, — раздельно выговорил Антон, и под сердцем Ивана похолодело.

— Не надо, — сказала Тося, — не надо... да ну его...

Антон распахнул дверь, пропуская гостя.

А на улице темень. Холодина. Иван шел впереди, пригнувшись в ожидании удара. Сзади тяжело шагал Антон.

— Кто тебя просил жениться на ней? — через плечо спросил Иван. — А если женился, так...

— Направо.

Они свернули от трамвайной остановки. На каждой подошве было по полпуда глины. Вода в лужах теплая, а по спине озноб бегал.

— Давай здесь, — попросил Иван, — чего грязь месить? — Холодный страх впивался ему в затылок. — Слышишь, давай здесь... Не боюсь

я тебя! — и побежал, с трудом вытаскивая ноги из глины. Потом он резко повернулся, прислушался к чавканью Антоновых сапог. Когда оно приблизилось, Иван что было сил бросил кулак в темноту почти наугад и охнул — попал в плечевую кость.

— А мне нельзя кулаком-то действовать, — донесся глухой голос. — Больно тяжел у меня кулак-то... Идем.

— Куда?

— Туда.

Иван посмотрел: впереди, на фоне бледного неба — кладбищенская ограда; обеими руками вытер потное лицо, крикнул:

— Не пойду!

— Пойдешь, — спокойно сказал Антон и пошел. Сам себе удивляясь, Иван двинулся следом. Страх уже не было. Было что-то другое, более неумолимое.

Дойдя до ограды, Антон протиснулся в узкую щель между досками. Иван уперся в них, хотел удержать себя, но — словно кто-то протолкнул его.

— Не вижу ни черта!

Где-то топал сапогами Антон. Иван двинулся за этими звуками, спотыкаясь, и, наконец, упал, уткнувшись руками в невысокий холмик, — свежий еще.

Руки провалились в мягкий грунт.

Силы оставили Ивана, он с трудом поднял голову, увидел огонек папиросы, попросил:

— Закурить дай... чего тебе от меня надо?.. Не могу я больше... ноги не держат... Чего надо?

— На месте уже, — тихо проговорил Антон, — мальчишечка здесь лежит. Аликом звали. Твой... — и повторил: — Аликом звали.

Вскочил Иван, долго не мог попасть кончиком папиросы в подставленный огонек. Антон взял Ивана за подбородок, дал прикурить.

НАЧАЛО СКАЗКИ

— Постыдилась бы такое говорить, — негромко сказал Алеша Валерьянцев, и его тонкие, аккуратные губы презрительно искривились. Он вытянул перед собой руки, будто боялся, что Татьяна бросится к нему.

А она, раскрасневшаяся, с блестящими глазами, стояла, сжав кулаки, и повторяла:

— Нисколько не стыдно! Нисколько не стыдно!

— Будем здоровы, — угрюмо произнес Федор Сологубов и опытным, почти незаметным движением опрокинул рюмку в рот.

— Налей и мне! — приказала Татьяна. — Назло ему! — волосы ее метнулись в сторону невозмутимого Алеши. — Назло ему! Пусть он...

— Поставь рюмку на место, — спокойно перебил Алеша. — Не бравируй.

Татьяна взяла рюмку, взглянула на него, закрыла от страха глаза и выпила глотками. Вид у нее был после этого жалкий: она не то расчихалась, не то раскашлялась. Федор протянул ей здоровенный желтый огурец.

— Знать я тебя больше не знаю, — отдышавшись, сказала она, хрумкая огурцом. — Уеду я отсюда к чертовой бабушке.

— Правильно, — одобрил Федор и быстро опрокинул рюмку в рот. — Дурак ты, Алеха, между прочим.

— Идем, — твердо позвал Алеша, не удаивая Федора ответом.

— Нельзя. У него день рождения.

— У него каждый день, — Алеша усмехнулся, — день рождения. Бутылочка. Закусочка.

— Не ври, — буркнул Федор, — могу и без закусочки. Брось его, Танька. Чего ты в нем обнаружила?

— А вот нашла чего-то, — задумчиво проговорила Татьяна, — а чего, не пойму.

— Выпей-ка, Алеха, — Федор пододвинул рюмку.

— Я не пьяница.

На улице было промозгло, но Татьяна не застегнула пальто, платок держала в руке. Шла она, не разбирая дороги, топая по ямкам в асфальте, наполненным водой, и Алеша больше смотрел на ее ноги, чем на свои, временами ловко отпрыгивал в сторону и просил:

— Осторожнее...

В вырезе платья у Татьяны замерзла грудь, и с грустью подумалось, что даже заболеть нельзя назло Алеше: здоровье не позволяет.

— Я сейчас книжку интересную читаю, — заговорил он, — хорошо автор жизнь описывает...

— Под ручку возьми меня, ирод! — перебила Татьяна, и не успел он шевельнуться, как она ухватилась за его локоть горячими ладонями.

— Осторожнее...

— Не хочу я осторожнее! Наоборот хочу!..

У тебя хоть раз в жизни голова кружилась? — с отчаянием и горечью спросила Татьяна. — Сердце хоть раз замирало? Во сне что-нибудь такое снилось? А? Вот когда на девчат смотришь, бывает у тебя...

— Дело в том, — испуганно перебил Алеша, — мало ли что там снится, голова кружится, сердце замирает. Если этому следовать, знаешь, что получится?

— Ну что? Что? — ласково, с надеждой спросила Татьяна.

— Ерунда получится, — ответил Алеша, — сплошные персональные дела, — он улыбнулся своей шутке, но сразу стал серьезным. — У меня в жизни есть цель, — понимаешь? Трудная, благородная цель. Ради нее и живу.

Татьяна отпустила его локоть и громко вздохнула.

— Хочу настоящим человеком быть, — голос Алеши зазвучал торжественно. — Трудно это, конечно, но вполне выполнимо. И как же я могу позволить себе пить, курить, гулять с кем попало?

— Выходит, я для тебя — это «с кем попало»?

— Не совсем так. Но для того, чтобы мы могли, например, дружить, мы должны узнать духовные запросы друг друга, выяснить...

— Уеду я отсюда, — перебила Татьяна, — измучилась я с тобой. Будто неживой ты, невсамделишный. Губы кусаю, когда о тебе думаю, а рядом с тобой мутрно!

— Это потому, — объяснил Алеша, — что ты неправильно думаешь о жизни. Живешь немного не так, как полагается. Образования

у тебя всего шесть классов. Читаешь недостаточно...

— Не пить, не гулять, не курить! — опять перебила Татьяна. — Да разве в этом дело? Что, по-твоему, при коммунизме голова не будет кружиться у людей? Сердце замирать не будет? Девчат, по-твоему, обнимать не будут? — вдруг раскричалась она, и растерявшийся Алеша не знал, убежать ему или ждать, пока она успокоится. — Человек должен все уметь! Всѐ! И работать, и гулять! Какого дьявола толку, что ты не пьешь, не куришь?

Они прошли через весь поселок и остановились там, где кончалась асфальтовая дорога. Впереди мигали огоньки железнодорожной станции. Увидев их, Татьяна замолчала.

— Мы с тобой обсудим этот вопрос, — произнес Алеша, вздохнув. — Ты куда?

— Туда! — не оборачиваясь, ответила Татьяна, шагнув в темноту на скользкую, размытую дождями глинистую колею.

— Не сходи с ума.

— Сойду! Назло тебе!

Нерешительно потоптавшись на месте, Алеша старательно подвернул брюки и двинулся за ней, поддерживая полы пальто руками. Внезапно он пожалел себя, и жалость оказалась острой. Даже сердце защемило. С ним, с сердцем, Алеша жил в вечных неладах: мягкий это орган, глупый, управлять им надо. Как так — сердцу не прикажешь? Мало ли что ему хочется!

Постепенно, в такт расчетливым шагам, и стук сердца стал неторопливым. Алеша думал сосредоточенно, не сбиваясь — как шагал,

тщательно обходя лужи, ступая так осторожно, что ни одна капелька грязи не прыгнула выше галош.

А Татьяна почти бежала, чувствуя, что холодные брызги попадают даже на колени.

Она любила станцию, любила смотреть и слушать поезда. Обидно только, что то место на земле, где она жила, было для них мгновением — и они проносились мимо, вдаль.

— Сумасшедшая, — сказал Алеша, нагнав ее у входа на перрон, — не умеешь владеть собой. На, причешись, — он протянул расческу. — Хватит чудить.

— Зачем же тогда жить-то? — тихо отозвалась Татьяна, прислонившись к забору, тяжело дыша. — Нет, я буду чудить. Я тоже хочу настоящим человеком стать. Не думай, что ты один цели имеешь. И буду чудить. Я еще молодая... Вот, может, в поезд прыгну. И уеду.

— Без билета?

— Без.

— Ну и высадят тебя на ближайшей станции.

— Пусть. Я сказки люблю. Сама себе сказку выдумую.

— Сказки — дело хорошее, — согласился Алеша, — только ты учти...

Татьяна оттолкнулась от забора и пошла вдоль перрона.

Вдалеке прогудел паровоз.

Она остановилась, прислушиваясь.

— Не валяй дурака, — сурово сказал Алеша, увидев на ее лице выражение мечтательности и лукавства. — Надо все-таки сообра-

жать. Надо... — он так разволновался, что взял ее за руку.

Татьяна вырвалась.

Мимо не спеша проплыл паровоз, один вагон, второй... С подножки спрыгнул парень в тельняшке, сказал:

— Здравствуй, красавица!

Взглянув на Татьяну, Алеша едва не хмыкнул: красавица! Волосы растрепаны, губы толстые, глаза какие-то ненормальные.

А она ответила:

— Здравствуй... поезд ведь здесь не останавливается.

— Бог с ним. Догоню, если понадобится.

Мимо простукивали вагоны.

— Сумасшедший... останешься.

— Ну и что?

— Как «ну и что»? — возмутился Алеша, но парень даже не взглянул на него и проговорил:

— Поцелуй меня, красавица.

— Вы, гражданин, — начал обомлевший Алеша, но парень опять не обратил на него внимания и сказал:

— Смотри, вагонов шесть осталось, не успеешь. Жалеть будешь.

— А с чего это я тебя целовать должна?

— А просто так... я с детства сказки люблю... — он протянул руки, и Татьяна шагнула к нему, привстав на цыпочки.

— Скорее вы! — крикнул Алеша.

— Спасибо тебе, — сказал парень, — веселее мне будет ехать теперь, — он вскочил на подножку последнего вагона. — Спасибо-о-о...

Качался в темноте красный огонечек.

— Ловелас это, — строго сказал Алеша, — или донжуан. Девушек обманывает.

— А ведь я не красавица, — прошептала Татьяна, — а он...

— Это у них метод такой, — объяснил Алеша, — в фельетонах часто описывается.

Татьяна повернулась к нему, заглянула в спокойные голубые глаза и сказала почти ласково:

— Ничегошеньки ты не понимаешь. И ничем ты Федора не лучше. И иди ты от меня хоть куда.

Алеша решительно нагнулся, подвернул брюки и двинулся по дороге, но через несколько шагов побежал, проваливаясь в ямки с водой, разбрызгивая во все стороны холодную грязь.

ФЕНЯ

Женился я, как говорится, без любви. Никакого греха в этом не усматривал. И, вообще, притворяться не умею — человек я честный и прямой.

Вот как все получилось. Понравилась мне девушка одна. Было мне под тридцать, давление крови нормальное, физическими недостатками не обладал.

А Феня эта не то что рук к себе протянуть не разрешала, а от взглядов вся краснела и убегала даже.

Чем она на меня воздействовала, непонятно. Девушка как девушка. Ничего особенного. Между нами говоря, я полных люблю, основательных, а она сухощавая, легкая — одной рукой поднять можно. Глаза, правда, выдающиеся. Огромные они у нее были, непонятные. Иной раз взглянешь в них, и хочется, чтоб кругом тишина была.

Ну ладно, это все лирика-беллетристика. Пришел я к ней однажды выпивши. Не помню, как обнял ее, и более того опьянел. Ну, думаю, сейчас она меня по щекам. Ничего подобного. Слышу:

— Люблю тебя, люблю...

Мне-то не до любви было, о другом думал, но запомнил это. И не случайно, как потом оказалось.

Утром проснулся — жениться ведь надо. Так получается. Человек я честный, понимаю, что к чему.

— Что ж, — говорю, — придется...

— Нет, — отвечает Феня, — не обязательно. Если не любишь, то...

— Голова садовая, — говорю, — жизни не знаешь.

И до тех пор, пока не заставила меня чего-то там ей о любви сказать, не соглашалась. Мне бы, дураку, сразу смекнуть, что Феня не пара мне, вернее, я ей не пара...

В общем, женились.

Сначала мне это мероприятие даже понравилось. Не жизнь, а сплошное удовольствие.

Правда, пришлось бороться. Она спортом занималась — бегала. По радио даже о ней передавали. Тренировки там разные. Один раз в газете про нее печатали. Неприятно мне это было... И еще мне не нравилось, что она больно много читала. Как только свободная минутка, так Феня за книжку.

Высказал ей все прямо: так, мол, и так. Ну поплакала, конечно. На тренировки ходить перестала. Читать не бросила, но с книжкой мне на глаза почти не попадалась.

Семейная ситуация мне приелась. Надоела мне Феня-то, Анфиса моя, и знаете, чем?

Любовью этой самой.

Глазами на меня вот такими смотрит. Слова против не скажет. Раба божия, да и только. А бог — я. Смешно, конечно, но факт. Думаю,

хоть бы раз ты меня по роже отхлестала. Куда там! Дрожала она надо мной.

Верьте, не верьте — скучища. Сидишь с приятелями где-нибудь за столиком, они нет-нет, да про жен вспомнят, как те их дома встретят, какой скандал образуется. А я завидую. Мне даже поругаться никакой возможности нет. Я-то явлюсь домой, а Феничка моя:

— Пришел, милый...

Ну, я куражиться начал. То одно выкину, то другое. Интересно мне было наблюдать, как она все это терпит. Человек я неглупый, сообразительный, среднее техническое образование, а тут растерялся. Не действуют на нее мои выдумки!

Раз ночевать не пришел, у дружка остался. Домой прибыл на утро только. Обняла меня Феня, Анфиса моя, целует.

— Да ты хоть спроси, где я был!

— Чего спрашивать? Не любя я тебе...

— Конечно, не Люба, — отвечаю, — а Феня.

Таким вот образом и жили.

В воскресенье хоть волком вой. Проснусь, а на столе уже пирожки. А она ждет, когда мое величество проснется. В желудке у меня пустота, откушу я пирожок, физиономию сморщу и скажу что-нибудь. И уйду. И дверью хлопну.

Вечером обратно приволокнусь, а Феня-то, Анфиса моя дорогая, сразу:

— И, верно, соды я переложила.

Иногда у меня в сердце прямо вулкан закипал. Осточертела мне эта самая любовь. Знал: все она стерпит, и неинтересно мне было жить с ней. Не со зла я ее обижал, а от скуки.

Сейчас-то я почти все понимаю, а тогда дурак дураком был...

В ноябрьские праздники, помню, вернулся с демонстрации уже под градусами.

— Потерпеть не мог? — Феня спрашивает.

— А тебе что?

Слушайте внимательно, что тут случилось. Стоял я к ней спиной. В голове у меня шумело. И все-таки чувствую, что спину мне то ли колет, то ли жжет. Оборачиваюсь: глазница Фенины меня насквозь просматривают.

И говорит она:

— Хватит дурака валять. Меня не бережешь, его, — руки себе на живот положила, — побереги.

Чего-то внутри у меня дернулось и похолодело.

До Нового года я как мышь тихий был. Только все чаще и чаще я к Фене приглядывался. Голова сама в ее сторону поворачивалась.

Стыдливая раньше Феня была очень. Никогда при мне не раздевалась. За шкаф спрячется и шмыг в кровать да еще одеяло до подбородка натянет.

А тут вдруг замечаю, что перестала она меня стесняться. Похихикал я на эту тему, а у самого мурашки по сердцу забегали.

Не смотрит она на меня!

Спохватился я. Чувствую, что беда нас ждет, а какая беда, не знаю, не догадываюсь. Знаю только одно: нельзя мне ее, Феню-то, терять.

— Разлюбила, что ли? — спрашиваю.

Не отвечает.

Что делать? С утра до вечера об этом сооб-

ражаю. И сообразил, так сказать. Решил я вести себя по-старому. Попляшешь ты еще у меня, решил.

Притащился я, помню, ночью. Феня читала. Одной рукой дверь открыла, в другой — книжица.

Вырвал я книжицу и цап-царап разорвал на две части.

И ведь не вскрикнула Феня-то, Анфиса моя дорогая, не заревела, ничего. Собрала свою книжицу и ушла.

Я, конечно, лег и сразу уснул. Утром просыпаюсь и жду, когда жена подойдет. А самому страшно. Не выдержал, заорал:

— Феня-а!

Окажись она здесь, я бы на колени перед ней грохнулся, прощения бы просил...

А ни ответа, ни привета. Я на кухню. Дверь на улицу открыта. Я в роддом — может, туда ушла? Ведь вот-вот родить должна... Нет! По всему поселку ее искал. Опозорился с головы до ног. Виданное ли дело: муж жену потерял, жена мужа бросила... Ох, и поохотали надо мной!

Положение у меня идиотское. Я, дурак, всем рассказал, все меня и спрашивают, где жена. А я знаю?

Спрятал самолюбие подальше, явился в детсад, где она работала. А она уже расчет взяла.

Крутись, не крутись, пришлось в милицию топать. Она, оказывается, Феня-то выписалась — уехала! Ключ я в потайном месте оставлял, ну, она без меня приходила, документы взяла, одежонку кой-какую и...

Вот вам и любовь.

Долго рассказывать, как я мучался. И если бы попалась она мне на глаза, не знаю, чего бы я с ней сделал!

Ну, хоть бы слово какое мне сообщила! А то — испарилась. Причем, в положении... и это мне особенно было непонятно.

Сначала смешки смешками, а потом люди на меня стали пальцами показывать. За что? Я уж всех христов упрасивал, чтоб одумалась она. Верите ли, иную ночь глаз не сомкну, мысли перебираю — жду.

И вещи ведь свои оставила, будто в физиономию мне их швырнула. Извините за выражение, трусики-лифчики разные как висели на кухне, так и висели, пока я их в чулан не унес.

Ждал, ждал... Да ведь нельзя же так! Куда уехала? Почему уехала?

Обидел я ее, наверно. На сердце у меня тяжело было. Честное слово, вот иной раз вспомню ее и... схвачусь руками за башку свою глупую.

Год прополз. Потом еще один. Еще. Крутился я, крутился, думал я, думал... И женился. А что прикажете? Тошно одному-то! Человек я, не телефон-автомат.

Тут я узнал, почем фунт лиха. И смех, и грех. Взяла меня она, новая-то жена, в оборот. Вот уж действительно не дыхни.

А я стал какой-то мягкий, добрый. Терплю все.

Деньги ее уважают, не разбегаются. Одеты мы с иглочки, как видите. Мебели домой по-натаскали — повернуться негде. Квартиру я

новую получил со всеми удобствами. И как в плену. Ни туда, ни сюда. Пробовал однажды вырваться из окружения, а она, супруга-то моя новая, в профком да как там... разговори-лась!

Ее Клавой звать. Я ей однажды говорю:

— Феня...

Она меня по щеке. Удачно у нее это получилось — крепко, в цель... Я молчок. А что прикажете делать? Клава тоже человек. И она ни в чем не виновата. Мне надо было в свое время соображать.

Женщина она в моем вкусе — полная, основательная, приятно посмотреть. Но вот глаза у нее, если можно так выразиться, без взгляда. Глаза-то есть, а в них-то ничего нет.

Чтобы от скуки спрятаться, начал я в книжки заглядывать. Привык. Вроде бы даже жить легче стало, особенно, если книга попадется интересная.

А жена не любит, когда я читаю. Конечно, я ее не виню, но ведь нельзя жить-то так! Вот меня на работе хвалят, дескать, я сил не жалею и все такое. Правильно, работу я действительно люблю. Я, можно сказать, только на работе и живу. Ну, а после что делать?

И все бы я стерпел, все! Одного не могу терпеть. Нету мне спасения от напасти одной. Ведь девять с лишним лет ее голоса не слышал.

А ведь голос — это не лицо. Лицо-то можно вспомнить, а голос... Услышать его хочется.

Я, конечно, не жалуюсь: на кого жаловаться? Просто думаю много...

Вот так... в общих чертах, конечно.

БЫВШИЙ КАПИТАН

Лето я прожил в поселке на берегу Камы, и у меня появилось желание остаться здесь на зиму.

Но хозяин дома, низенький рыхлый мужчина в белом, всегда безупречно отглаженном кителе, всегда с огромным платком в руках, ответил, что зимой у него живет один и тот же человек, который должен приехать в субботу — день моего отъезда.

Возвращаться в город мне не хотелось, и я спросил разрешения остаться на воскресенье.

— Дело ваше, — пробормотал хозяин, вытирая лысину платком. — Но не советую... очень уж он...

Я пропустил предостережение мимо ушей.

Вечер выдался хмурый. Ветер шуршал обрывками обоев. В комнате было пять окошек, и если закрыть глаза, то создавалось впечатление, что находишься не под крышей, в четырех стенах, а на открытом воздухе: столько со всех сторон доносилось звуков. Прямо в ухо гудели пароходы, фыркали сирены самоходных барж, покрикивали речные трамваи, разговаривали люди, шумели сосны.

Мне было тревожно... Я лежал, не зажигая огня. Порывы ветра продували комнату на-

сквозь. Дверь поскрипывала, будто кто-то невидимый толкал ее. Чем темнее становилось за окнами, тем сильнее я ощущал что-то похожее на страх или недоброе предчувствие.

В комнате неслышно появился хозяин. Он долго вытирал лысину огромным платком, потом сказал неуверенно:

— Можно ложиться спать.

— Почему же вы сдаете ему комнату, если...

— Боюсь, боюсь, — торопливо ответил хозяин, — то есть, не боюсь, конечно, а остерегаюсь. Предпочитаю не связываться... Да и жалко его, знаете ли... — и исчез: видимо, не хотел объяснений.

Потом сквозь дремоту я расслышал громкие резкие шаги и мелкое постукивание.

Ветер раскрыл дверь, через порог ступил человек. Я не видел его, а чувствовал или ощущал — не знаю, как сказать. Не различая даже очертаний фигуры вошедшего, я был убежден, что он высокого роста, худ; взгляд его просерливает темноту.

Где-то поблизости удивленно и обиженно прогудел пароход.

— «Тургояк» на мель напоролся, — радостно сказал человек сиплым голосом.

Щелкнул выключатель, я зажмурился и некоторое время боялся открыть глаза.

У порога стоял высокий худой мужчина в затасканном темно-синем плаще, в капитанской фуражке без герба, с переломленным надвое козырьком. Крючковатыми пальцами он держал за горлышко темно-зеленую бутылку с белой наклейкой. В другой руке у него была

маленькая вобла, висевшая на обрывке шпагата. Он ударил ею по сапогу, как хлыстиком.

Рядом стояла большая овчарка неопределенной масти; сквозь слежавшуюся на боках шерсть проступали ребра. Тоскливо и виновато взглянув на меня, собака простучала когтями по полу и нырнула под кровать, на которой я лежал.

Мужчина брезгливым движением отодвинул на столе книги в сторону, поставил бутылку, торжественно положил воблу и сказал:

— Напоролся на мель, стаскивать надо... стаскивать надо... — он взял бутылку, долго вертел ее в руках, будто не знал, что с ней делать, и резко ударил в дно ладонью.

Выплеснув из кружки остатки чая на пол, он налил в нее из бутылки и протянул мне.

— Я не пью.

Его худое, с оплывшими веками лицо вытянулось, но вслед за этим он понимающе осклабился — дескать, знаем мы вас.

— Ну!

— Честное слово, я не...

— Ладно, ладно! — просипел он. — Давай! — красные пятна на его скулах, образованные сеткой прожилок, потемнели. — Давай, давай! — выцветшие или словно разбавленные влагой голубые глаза с красноватыми, без ресниц веками сощурились — Брезгуешь? А? Интеллигенция... — он выругался, помолчал и снова выругался, еще грубее, еще отвратительнее.

В ругани отсутствовал смысл, она была беспорядочным набором самых непристойных

слов. Голос временами срывался, и тогда бледные, без кровинки губы беззвучно извивались.

— Не будешь?

— Нет.

Он сел, долго молчал, держа кружку перед собой, глядя на нее с мученическим видом — будто выпить ему стоило больших усилий. Пил он медленно, сквозь плотно стиснутые губы.

Меня передернуло.

— Будем знакомы, — просипел мужчина, вытирая рот рукавом, — капитан Балаков... — Он понюхал воблу. — На мель напоролся... стаскивать надо...

Под кроватью жалобно вздохнула собака.

«Тургояк» прогудел требовательно, возмущенно.

— Родился я в семье речника, — вдруг начал рассказывать Балаков. — Всю жизнь я отдал на благо... Да-амка!

Из-под кровати, униженно поникнув мордой, вылезла собака.

— Вот мой единственный друг, — отрекомендовал Балаков, — никогда меня не бросит. Ни за что... Выпей за мое здоровье, — он на мгновение наклонил бутылку над полом.

Собака виновато посмотрела на меня, тяжело вздохнула и, закрыв глаза провела языком по лужице. Тело ее дернулось, она поджала хвост, снова лизнула и юркнула на свое место.

— Зачем вы это делаете? — спросил я.

— Она тоже хочет, — Балаков хрипло прохотал. — А ты что, жалеешь? — с ненавистью спросил он. — Скотину жалеешь?

Настойчиво прогудел «Тургояк».

— Ори, ори... — Балаков смачно выругал-

ся. — Русский человек без водки не может. Понятно? Который не выпивает, у меня в того веры нет... Кто я теперь? Хомяк. Суслик. Мышь. Воробей бесхвостый. Мухомор жареный. А кто я был? Да-амка, кто я был?

Собака вздохнула.

— Во-о, — он поднял скрюченный палец, — всё понимает друг мой последний. Никому я, кроме нее, не нужен. Все от меня морды отвернули. Она только меня не бросит. Ни в какую.

— Пили, наверное, много.

— Само собой! — с гордостью отозвался Балаков. — А кому какое дело? На свои пил, не на чужие. Ты на работу мою смотри. На трудовую деятельность. И всё, и точка. А то есть еще у нас такие: и матом не балуются, и кроме соды-крем не пьют ничего, и жене не изменяют, а работать не могут. А мы и в работе, и везде первьяком.

«Тургояк» прогудел радостно, густо.

— Снялся, — мрачно сказал Балаков, — и мне надо... ту-у... ту-у... ту! — прогудел он, налил в кружку и легко выпил.

Я спросил:

— Где вы работаете?

Он махнул рукой, но ответил важно:

— Капитаном... Да-амка!

Собака выползла из-под кровати, косясь на меня. Я погладил ее. Она беззвучно оскалилась.

— Ну-ка, — проговорил Балаков, — давай! Вырази наши соображения. Ну!

Вытянув шею, собака коротко взвыла, словно пробуя голос.

— Порядок, — одобрил Балаков, — крой дальше.

Дамка выла, закрыв глаза. Это была самая настоящая тоска, пусть собачья, но настоящая. У меня даже запершило в горле. Вой — от глубокого, рыкающего до тонких повизгиваний — подействовал на меня так, что я пожалел Балакова.

А он весело подбадривал:

— Давай, давай!

Кончив выть на тонкой, раздирающей слух ноте, собака с мольбой взглянула на меня.

— Дамка, Дамка, — позвал я и протянул руку, — иди, ну, иди, хорошая, умная...

Она лизнула мою руку сухим языком и спрятала морду в колени. Тело ее мелко подрагивало.

— Да-амка, сюда!

Но она еще плотнее прижалась ко мне. Балаков вскочил, занес ногу и пнул. Собака взвизгнула и юркнула под кровать.

— Бывший! — крикнул я. — Бывший капитан! Бывший!

Он понял, что я готов на все, и шагнул назад. Да, если бы я не сдерживался, то вышвырнул бы его в окно и с наслаждением прислушался бы, как он шмякнется о землю.

— Собака, — сквозь зубы процедил он, — иди... — он взял в руку бутылку таким движением, словно собирался не наливать, а запустить в меня.

— Прощай, Дамка, — сказал я, и собака отозвалась постукиванием хвоста об пол.

На дворе была кромешная ночь. Холодный ветер едва не сорвал с моей головы кепку. Я

поспешил спрятаться за ствол сосны. Спички гасли, не успев вспыхнуть.

Меня трясло, и я не сразу понял, что это не от холода.

За калиткой проплыл в воздухе огонек папиросы, донесся голос хозяина:

— Зачем связывались? Я предпочитаю...

Из дома раздался тоскливый вой. Я бросился обратно к калитке сквозь плотный встречный ветер.

Балаков сидел на кровати в безвольной позе, согнувшись, опустив руки, широко раскинув острые колени.

Дамка обрадованно, но вяло вильнула хвостом. На глазах ее были слезы.

Порыв ветра пролетел сквозь комнату.

— Ты! — сказал я. — Уходи!

Он махнул рукой и лег. Я крикнул и лишь тогда понял, что это было ругательство, Балаков ожил, с трудом встал и подошел к столу. Я налил остатки водки в кружку и подал ему. Он глотнул, вытер губы рукавом, просипел:

— Пока.

Дамка подбежала к дверям. Я протянул ей руку, но она сделала вид, что не заметила этого.

— За сколько продадите ее? — почти крикнул я.

Балаков пожал плечами, осклабился и ответил:

— Пол-литра.

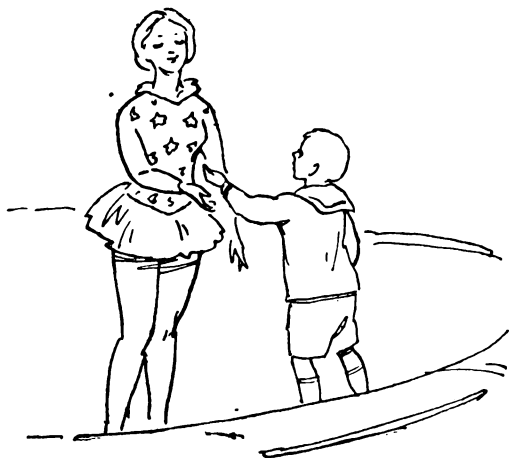
Обескураженный, я принялся шарить по карманам и отдал Балакову все деньги. Он

послунял большой палец правой руки, пересчитал, удовлетворенно хмыкнул.

— Уходи.

Балаков сунул пустую бутылку в карман плаща, взял воблу и, цыкнув на Дамку, ушел.

...Утром, когда я проснулся от теплых солнечных лучей, собаки в комнате не было.



ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ

В ЗАТОНЕ

Мутная, с желтоватым оттенком, по характеру еще весенняя Кама, играла нашей лодчонкой, которая вздрагивала, казалось, даже от движения век.

А в затоне было тихо. Вода здесь неподвижна.

По всему берегу разбросаны невысокие деревянные постройки — мастерские и склады. Тут и там остовы катеров и пароходов, кучи железного хлама, причудливые узоры арматуры.

Печальным памятником своей бывшей красоте высятся громада знаменитой «Жемчужины». Скоро даже речники забудут, что ходило когда-то по Каме несколько диковинных пароходов, у которых колеса были сзади. «Жемчужина» — последний из них. Отплавался. Он покоится на берегу без колес, без трубы; обшивка местами сорвана, виден ржавый скелет. И все же есть в нем что-то гордое, независимое, чем-то выделяется он среди других.

— Рухлядь, — небрежно бросает Пашка, десятилетний сын капитана буксира «Генерал Карбышев».

Над высоким, кручей поднявшимся от воды берегом, за кромкой соснового бора ползут

темно-сизые тучи с белыми полосами — предвестниками града.

С каждой минутой холодеет. Ветер бежит по-над водой. Начинает темнеть, хотя за тучами небо голубо. Вдруг ветер спал, будто мгновенно спрятался в реку, зарябил ее. А по воде сверху ударил другой ветер — плотный и тяжелый.

Мы причалили.

— Пошли таиться, — сказал Пашка и скакал по бревнам к берегу. Прыгал он как кузнечик — высоко, с места, без разбега.

Я, поскальзываясь, торопился за ним. Со всех сторон одновременно ударил гром, со всех сторон сверкнули молнии. В спину нас толкнул ветер.

Мы подбежали к дощатому домику. Не успел я прикрыть дверь, как она сама ударила меня по пяткам. Глухо звякнули стекла.

В небольшой, конторского типа комнате с продолговатым решетчатым окном было темно.

Дождь хлестал вместе с градом.

— В двадцать седьмом году мужик мой потонул, — услышал я глубокий певучий голос, — вот до чего дурной человек был, неосознательный. Даже и помереть-то не мог, а потонул.

Вглядевшись, я увидел высокую могучую старуху. Она стояла у окна, сложив на груди руки.

К ней подскочил старик в мешковатой брезентовой тужурке, возмущенно проговорил:

— Знаем, знаем! Зазнобила ведь ты его... э-э! Так что, не притворяйся.

— Зазнобила, — равнодушно согласилась

старуха, — было дело. Но мужик он шибко дурной был. Не лучше тебя. Такой же...

— Ты, Карповна, ровно судья-прокурор! — старик топнул. — Чего всех учишь? А сама? Сама-то? Жизнь у тебя перевернутая, неладная...

— Хватит, Вавилыч, — остановил его неслышно подошедший мужчина в клетчатой рубашке.

— Тебя, Суслов, не спрашивают! — крикнул старик. — У нас с ней давнишнее. Должен я ее переспорить!

Гром со звоном и скрежетом прокатился по крыше. Вслед на нее обрушился новый порыв ветра, град, ливень. Послышался сухой треск. Вспыхнул сноп искр.

— Работы-то алектрикам. — Карповна вздохнула. — Сколь проводов-то пооборвет... Позапрошлый год меня в грозу столбом чуть не изувечило.

— Это судьба тебя наказывает, — сквозь зубы процедил Вавилыч. — Больно умной себя показываешь.

Пашка потянул меня за рукав, шепнул:

— Они всегда так.

Большая кепка то и дело закрывала ему лоб, он отбрасывал ее на затылок привычным ударом указательного пальца по козырьку.

В углу сидел парень, одетый в тельняшку с отрезанными выше локтей рукавами. Глаза его настороженно блестели.

— Прошрое лето я к сыну ездил, — с гордостью начал рассказывать Вавилыч, — в Кунгур. Встретили меня... э-эх! Костюм подарили,

портсигар с узорами, валенки чёсанные. А у тебя...

Суслов позвал:

— Подь сюда, Вавилыч.

— А чего это я к тебе пойду? — моментально рассвирепел старик. — Подь сюда! Подь сюда! — передразнил он и тут же подошел. — Чего надо?

Что ему говорил Суслов, я не слышал.

— В кино я вчера была, — тихо сказала Карповна, — и уж поплакала вдоволь, досыта. Уж такую душевную картину показали. И одно я не поняла: за что же паренька-то хорошего идиотом прозвали?

Вырвавшись из рук Суслова, Вавилыч подскочил к ней и торопливо выкрикнул:

— И не поймешь!

Парень в тельняшке рывком встал, подошел к старику и, размахивая руками, замычал.

— Глухонемой, — шепнул мне Пашка.

Старуха сказала парню, тщательно выговаривая каждое слово:

— Сиди, Витюша, сиди.

Погрозив Вавилычу кулаком, Витюша ушел на свое место. Карповна спросила:

— Кипяточку, люди добрые, не желаете?

И хотя все промолчали, она вытащила из печки огромный закопченный чайник, достала с полки посуду, консервную банку с мелко наколотым сахаром.

Вавилыч рассказывал мне на ухо:

— Муж-от ее, Евдоким, к Катьке Сухоруковой ходил. И родила она ему вот этого Витюшку. Э-эх, пересудов-то, перетолков-то было! — восхищенно воскликнул он. — А, верь не верь,

Евдоким выпьет пол-литра для согрева и в конце мая Каму за милую душу переплывал. Бултых и айда!.. Ну, единова бултых, да и не выплыл. Поймали его через три дня. А Катька, Сухорукова-то, она, по-нынешнему если, стилига была. Фуры-муры. Она орать: обманул, дескать, меня Евдоким! Сам потонул, а мне, молодой, интересной, с Витюшкой мучаться!.. Тогда Карповна Витюшку к себе затребовала, сказала: «Мой грех, мне и ответ держать». Люди спрашивали: «Какой же это твой грех?» А Карповна: «Муж-от мой был. Вот я за него и доложна ютвечать. За все его мероприятия». Любила она его, — удивленно шептал Вавилыч, — непонятно любила.

— Все выболтал? — не глядя на него, спросила Карповна спокойно. — Теперь про себя расскажи, клоун.

— А что? — боязливо и вместе с тем вызывающе вскрикнул старик. — Что? Дело предлагал. Послушалась бы тогда меня, жила бы сейчас как люди живут.

— Живу я хорошо, — убежденно проговорила Карповна, — вроде бы отдыхаю. Сторожиha — кака это работа? Да и сна у меня все одно нету... А звал он меня тогда, — Карповна грустно усмехнулась, — бежать с ним в Сарапул... Пейте, люди добрые. За угощение извиняйте: чем богаты... Всё горе, како мне выпало, сама несла. Никого своим горем не задела.

— Вот и нету у тебя счастья! — голос Вавилыча жалобно дрюгнул. — Нету ведь!

За окном полыхнуло. В бледном свете молнии я увидел лицо Карповны. Крупное, с большим, нетронутым морщинами лбом, оно

дышало ласковостью и в то же время суровостью.

— Ох, грозы, грозы... — выдохнула она. — Сколь я их насмотрелась и уж не боюсь... Как у вас дома, Пашок?

— По-старому, — ответил Пашка.

— Живут, хлеб жуют, — насмешливо добавил Вавилыч. — Капитанское дело известное. Недовыполнили — выпить надо, выполнили — полагается выпить, перевыполнили — грех не выпить. Зимой пьют, чтоб не засохнуть.

— А ты капитаном не был, так не знаешь, — равнодушно сказал Пашка. — Они сейчас, может, у моста с плотом воюют. Ты хоть раз плот через мост в грозу протаскивал?

— Отец у тебя, Пашок, сознательный человек, — задумчиво произнесла Карповна. — А насчет выпить... я тут с ним толковала, когда он в затоне ремонтировался... Нога у Танюшки больше не болит?

— Вылечили, — Пашка улыбнулся, — вчера к продмагу одна убежала.

— Детей производить еще не разучились, — озабоченно проговорил Вавилыч, — а вот воспитывать... это вопрос ребром. Уж такие фрукты растут! Парни еще ничего, а девки... — он сплюнул. — И не смотрел бы. Прости меня грешного, всяко место наружу...

— А тебе что? — перебила Карповна. — Всем-то ты недоволен, хоть и портсигар имеешь с узорами. У меня вот нету портсигара, а... — она улыбнулась почти виновато. — И на молодых я не сержусь. У них свои заботы... Бабья доля неслетлая, вдовья доля несладкая, старушья доля невеселая, а жить можно. Иной

раз, правда, тянет богу помолиться, да не верю я богу-то.

— Ой, врешь!— пронзительно крикнул Вавилыч. — В ту субботу в церкви тебя видели!

— Была по старой памяти. И свечку купила, да никому не поставила. Некому. Смотрю на икону и вижу: человек. А его, вишь, святым сделали, — словно сама удивляясь своим мыслям, говорила Карповна. — Был, значит, человек, мучился, работал, выпивал, может, а тут — икона, свечки... Я так считаю, — громко продолжала она, — если за муки и праведность к лику святых причислять, то много нас, святых, по земле еще в живых ходит. Вот и не верю я господу.

Гром бухнул у самой стены. Вавилыч мелко перекрестился. Карповна рассмеялась.

— И ты ведь, старый, не веришь. А деньги на свечки держишь... Ну, убежала бы я с тобой в Сарапул. А Дарья твоя? Она бы мучилась. Так уж лучше я... Не подогреть чайничек?

Витюша напильником точил лопату, изредка взглядывая на Вавилыча, толстенькое лицо которого светлым пятном выделялось на темном фоне стены. Суслов смотрел в окно. Карповна мыла посуду.

— Да-а, — многозначительно протянул Вавилыч, — дела как сажа бела...

Суслов резко обернулся, и сквозь шум затихающей грозы Вавилыч визгливым голосом крикнул:

— Чужой-то радостью сыт не будешь!

Никто не отозвался.

За окном внезапно стихло.

— Всегда так, — удивленно сказала Карповна, — пройдет и будто бы и не было. Айда порядок наводить.

Мы вышли на крыльцо. Воздух был пронзительно свеж. Под жаркими лучами солнца земля сверкала яркими красками. Омытые бревна лоснились. Пели невидимые птицы.

Со стороны Камы прилетел пароходный гудок.

— По-ря-док, — старательно шевеля губами, выговорил Витюша.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ

Десятилетним мальчишкой встретил Виктор Петрович на своем жизненном пути цирковую наездницу Марию. Выступала она на черной лошади, тонкая, но сильная, в голубом трико и белой балетной пачке.

На груди у нее сверкали звездочки из серебряной фольги.

В любовь к Марии у Витьки собралась вся его немая и восторженная любовь к цирку — удивительному миру, в котором живут необыкновенные люди, ловкие, смелые, красивые.

Глядя на них, он был уверен, что они такими и родились, что им ничего не стоит скакать на лошади, висеть вниз головой под куполом, выпускать изо рта пламя, входить в клетку к диким зверям и всегда улыбаться.

Витька проникал почти на каждое представление. А там — играла музыка, длинный тощий дядька весело шелкал бичом, сверкали серебряные звездочки.

Жизнь вне цирка казалась Витьке тусклой, люди — неинтересными.

Однако потом, когда он ухитрялся бывать и на репетициях, увидел он поразительные вещи, о которых не подозревал.

Сидя в непривычно пустом цирке, без зрителей, музыки и красок, Витька с удивлением, страхом и радостью наблюдал за тем, что здесь происходило.

Мария в трусиках и майке скакала на лошади, длинный тощий дядька щелкал бичом, кричал, злился. Мария иногда падала и снова вспрыгивала на круп лошади... Снова, снова и снова... В недолгие минуты отдыха Мария полотенцем вытирала пот. Вылинявшая штопаная майка на спине и под мышками была в мокрых пятнах.

А вечером — опять играла музыка, сверкали серебряные звездочки, и Витьке было обидно, что никто из зрителей не знал, сколько надо трудиться, падать и вставать, чтобы цирк казался необыкновенным миром.

Настало прощальное выступление труппы. Витька предчувствовал, что видит Марию последний раз в жизни и поэтому считал себя самым несчастным человеком на свете.

В цирке было много людей, но только Витька заметил, как в воздухе сверкнула и упала на манеж звездочка.

И даже много лет спустя Виктор Петрович поражался смелости, которая тогда подбросила его с места. Перепрыгнув барьер перед мордой лошади, он схватил горсть опилок вместе со звездочкой и убежал из цирка, хотя никто за ним не гнался.

И на небе были звездочки.

И у него в руке была звездочка.

С тех пор прошло очень много лет, но, приехав в командировку, Виктор Петрович первым делом узнавал, есть ли здесь цирк.

Как-то Виктор Петрович сидел в холодном шاپито в одном из районных уральских городов, откуда рано утром должен был отправиться в колхоз на уборочную.

Ветер хлопал брезентовым куполом. Скрипели тросы. Виктор Петрович продрог, но чувствовал себя — как всегда в цирке — хорошо. Временами он даже не смотрел на арену, а просто наслаждался сознанием того, что находится около манежа. Тоскливо и радостно было на душе, будто вернулось детство, и он — не пожилой, лысый мужчина, а вихрастый мальчишка — счастливый и безбилетный.

Труппа оказалась неинтересной. Толстая дама в бальном платье, с обнаженными мощными плечами хрипло кричала на бестолковых собачек, которые только то и умели, что ловить кусочки сахара.

Трое акробатов под звуки вальса с трудом громоздились друг на друга и долго раскланивались. Публика аплодировала, чтобы не обидеть их, а заодно и согреться.

Клоун писклявым голосом спрашивал дежурного милиционера:

— Что вы смотрите на меня, как паровоз на Анну Каренину?

Потом на арену выбежала молодая акробатка, и в цирке сразу установилась тишина.

Виктор Петрович давно не помнил лица Марии, но громко вздохнул: когда артистка ненадолго выпрямлялась, на груди ее ярко вспыхивали серебряные звездочки. Он провел рукой по своей лысой голове и снова вздохнул.

В цирке было много людей, но только Виктор Петрович заметил, как в воздухе сверкнула и упала на манеж звездочка.

Он тяжело поднялся с места и перешагнул через барьер. На мгновение ему даже показалось, что все это происходит во сне — такая легкость была в теле. Он поднял звездочку и протянул артистке.

То ли у него гудело в ушах от волнения, то ли гудел шумом и аплодисментами цирк.

Девушка поцеловала звездочку и отдала ее Виктору Петровичу.

Когда он вышел из цирка, все небо было в звездочках.

И у него в руке была звездочка.

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Р. Р. Гельгардту

В один, как говорится, прекрасный день Пелышеву исполнилось шестьдесят, и он, никогда не отличавшийся нежностью и особенным вниманием к людям, даже близким, начал испытывать желание улыбаться каждому встречному.

Всю жизнь почти равнодушный к природе, теперь он мог до онемения в затылке смотреть на небо, следя за движением облаков, бродить под дождем, слушать ветер или удивляться краскам осени.

Осень Пелышев любил больше всего. А в осени он больше всего любил опавшие листья.

Невеселая мысль пришла ему однажды в голову: он словно прощался с природой, спешил ее разглядеть перед тем, как расстаться. Мысль эта не огорчила его, а наоборот, утвердила в желании бродить под дождем, смотреть на небо, слушать ветер, улыбаться прохожим, собирать опавшие листья.

Круглый год в комнате стоял запах этих листьев, и Пелышев глубоко, до сердца вдыхал его.

Вставал старик рано, выпивал стакан чаю, уходил гулять и возвращался к тому времени, когда приносили газеты.

Гостей он не любил: они, люди его возраста, говорили о болезнях, жаловались на детей и жен. Ему становилось совсем тоскливо, потому что его старое тело было начинено болезнями, а в живых не осталось никого из близких.

Пелышев редко бывал на кладбище и, придя туда, не каждый раз навещал могилу под молодой березкой, проходил в отдалении, остро ощущая свое безысходное одиночество.

У могилы он бывал обыкновенно осенью, собирал жухлые березовые листочки и раскладывал их у подножья деревянного белого креста. На него Пелышев старался не смотреть, но все-таки взглядывал, и в сердце рождался страшок, не страх, а именно — страшок. Маша не верила в бога, а вот перед смертью вдруг попросила крест...

Разложив листочки, Пелышев опускался на ветхую скамеечку и долго сидел, опершись подбородком на самодельную черемуховую трость.

Однажды, возвращаясь с кладбища, он задержался перед входом в церковь, над которым висели буквы «ХВ», составленные из электрических лампочек. Черная пасть дверей дышала чадным теплом.

Люди входили туда медленно, как-то сжавшись, втянув голову в плечи, — будто неохотно входили.

Пелышев усмехнулся и направился домой.

На другой день он, недовольный своим любопытством, вошел в церковь. Кругом стояли

скорбные, невидимой тяжестью придавленные люди. Крестились и кланялись они испуганно, торопливо. Поддаваясь тому самому страшку, который охватывал его при виде креста на могиле, Пелышев втянул голову в плечи, согнулся. Страшок сменился ощущением приятного бессилия, успокоения, которые шли от сознания, что он не один здесь со своим горем и одиночеством, что бороться с тоской нет смысла, лучше и легче отдаться ей.

Ничего, ничего, все там будем... Мелок и ничтожен ты, человек, слаб, а потому — склонись...

Какой-то святой с потускневшей иконы смотрел на Пелышева страдальческим и вместе с тем едким взглядом, и старик, сразу почувствовав себя виноватым, согнулся еще ниже.

Выйдя из церкви, он облегченно вздохнул, будто оставил там половину горя или, наоборот, прихватил и чужого, и кому-то стало легче.

На другой день его потянуло сюда. Ни в какого бога он, конечно, не верил, но была потребность на что-то надеяться, пусть на самое немыслимое. Тяжело нести тоску, когда кругом счастливые, во много раз легче стоять вот так среди безвольных, слабых.

Теперь Пелышев чаще навещал могилу жены и, глядя на крест, уже не испытывал страшка, потому что мысленно примирился со смертью.

Рядом была могила с большим мраморным памятником, изображавшим не то алтарь, не то кафедру. Ниже фамилии три слова: «Мужу, другу, человеку».

Однажды Пелышев раскладывал листья и вдруг услышал всхлипывания. Еще не посмотрев, кто плачет, он сам почувствовал, как задрожали веки, выпрямился, чтобы уйти, но его остановил виноватый голос:

— Простите... я помешала вам...

— Чего уж... такое место, что... — пробормотал Пелышев, обернулся и увидел маленькую, сгорбленную старушку в пенсне с цепочкой; предложил присесть.

— Нет, нет, я никогда здесь не плачу, — сказала старушка, — а сегодня почему-то... верно, оттого, что день очень хорош.

Нетеплое солнце светило радостно, и в этом свете видна была каждая травинка, даже опавшие листья приобрели живые оттенки. Стволы берез выглядели совсем по-весеннему.

— Утром был, знаете, голубой иней, — сказал Пелышев, — я его руками трогал.

— Голубой, голубой, — подтвердила старушка, — я тоже заметила и подивилась. А наощупь сухой... — она рассеянно крутила цепочку с пенсне, потом вопросительно взглянула на Пелышева.

— Восемь лет, — ответил он.

— Совсем недавно.

— А крест... это случайно, — неожиданно для самого себя виновато проговорил Пелышев, — попросила перед смертью, ну и...

С кладбища шли вместе. Алла Григорьевна — так звали старушку — жила недалеко, но за дорогу притомилась, и Пелышев не рискнул отпустить ее одну подниматься на третий этаж.

По сравнению с его полупустой комнатой ее жилище напоминало музей: старинные

кресла с резными спинками, рояль, подсвечники, картины и фотографии на стенах, альбомы с медными застешками... Пелышев увлекся разглядыванием и не заметил, как хозяйка успела отдышаться и накрыть на стол.

— Не квартира у вас, а клад, — сказал Пелышев.

— Склад! — весело поправила Алла Григорьевна. — Мы с мужем бездетные были, зарабатывали неплохо, вот и напокупали.

Они долго пили чай, разговаривая о разных пустяках старицкой жизни, и Пелышев на прощанье сказал:

— Неправильно чай завариваете. Я научу.

Выйдя на улицу, он вспомнил о церкви и нахмурился, подумав, что об этом могла узнать как-нибудь Алла Григорьевна.

Засыпал Пелышев с трудом. Самым неприятным в сутках были часы между невольным бдением и сном. Кругом стояла тишина, и он, не напрягаясь, слушал гулкое биение старого сердца. Думалось о церкви и о смерти.

Но сегодня он вспомнил Аллу Григорьевну, вспомнил о том, что кресла нуждаются в ремонте, часы с кукушкой молчат, медные застешки у альбомов отваливаются при первом прикосновении, и — заснул.

Весь день он вспоминал о ней и размышлял, удобно ли будет навестить ее. Вечером Пелышев направился в сквер. Холод схватил землю, лужи покрылись льдом с вмерзшими в него листьями. Больше часа потратил Пелышев, чтобы набрать пучок.

Разложив дома листья на батарее центрального отопления, старик с удовлетворением

разглядывал их. Нет, очень хорошо, что жизнь выдалась трудная, полная невзгод. И даже теперешнее одиночество необходимо, чтобы он еще раз пережил прошлые радости.

Аллу Григорьевну он навестил через два дня, когда не смог перебороть очередного приступа тоски.

В черном платье, закутанная в клетчатый плед, Алла Григорьевна сидела на диване и крутила цепочку с пенсне. Пелышев и сам чувствовал недомогание, но, ухаживая за Аллой Григорьевной, забыл о нем.

Весь вечер он рассказывал ей о листьях, и она удивленно повторяла:

— Вы подумайте...

С каждым днем он засиживался все дольше и дольше. С каждым днем он все неохотнее возвращался в свою полупустую комнату.

— Я перестала хворать, — весело проговорила однажды Алла Григорьевна, — и это из-за вас. Представьте себе, просыпаюсь утром больная, но знаю, что вы придете, встаю, и хворь исчезает.

И все-таки она заболела. Пелышев вызвал врача, сходил в аптеку, готовил чай, потом вслух читал газеты.

К вечеру Алле Григорьевне стало лучше.. Пелышев разобрал часы с кукушкой, смазал детали керосином, и в положенное время птичка прокуковала.

ЖЕЛТАЯ КОРОЛЕВА

Василиса Антоновна, высокая, широкоплечая старуха, одетая в длинную черную юбку и короткий блёкло-зеленый китель с нашивками за ранения, в сумерки всегда тревожится, будто ждет чего-то.

Иногда, очень редко, она подходит к покосившемуся на одну сторону шкафу, снимает с него шахматную доску.

Покрытый пылью черный король вот уже много лет не двигается с места. Кажется, он так привык к своему положению, что его давно не волнуют ни приготовившиеся к прорыву пешки, ни хитрая желтая королева, которой осталось сделать всего шаг, чтобы выиграть битву. За годы бездействия король стал равнодушным.

Старуха берет шахматные фигурки, обтирает их пальцами, опускает на прежние места, и они стоят там до тех пор, пока руки снова не вспомнят о них. Именно руки: потому что все это Василиса Антоновна проделывает машинально, и можно подумать, что руки сами тянутся к неоконченной партии.

День — еще ничего, в делах да заботах пройдет как-нибудь, ночью — сон, хоть и ста-

риковский, недолгий, а вот вместе с мутными сумерками на землю словно опускаются тревога и ожидание.

Вздыхает Василиса Антоновна. Мужа она похоронила, дети с войны не вернулись, всех близких одного за другим в последний путь проводила.

И перебирает она, уже не перечитывая, письма; фотографии — уже не разглядывая, а просто так. Хорошие дети были: и младший — Виктор, и старший — Владимир. Ушли, не доиграв шахматной партии, молодые, ласковые, живые...

Ждала она их, ждала. Бумажки похоронные сожгла в печке. Пепел поленом раздавила.

Сидела, помнится, вот так же в сумерки. Во дворик вошел мужчина. Пустой рукав короткого ярко-зеленого кителя с нашивками за ранения был булавкой приколот к боку.

Увидев на крыльце Василису Антоновну, мужчина снял фуражку, но не так, как снимают при встречах, а так, как прощаются когда.

— Здравствуешь, мать.

И отвернулся.

— Не плачь, не плачь, — шептала Василиса Антоновна, сухими глазами глядя в сумерки, которые сразу погустели. — Не мы одни.

Когда сели за стол, она удивленно проговорила:

— Смотри ты... со своими ни разу в жизни... и они при мне ни разу... Ну, помянем давай.

Гость взял стакан, расплескав, поднес ко рту, присосался. Старуха выпила, не помор-

щившись; сидела прямо, даже чуть-чуть запрокинув голову, тупо глядя перед собой.

— Всю войну я с ними, — сказал гость, — всю войну... — по его щекам, прыгая через красноватые шрамы, бежали слезы. — И шарахнуло нас одной миной... меня-то кое-как сшили... Я ведь весь исковерканный, мать! — жалобно крикнул он, рванув воротник. — Не человек я! Инвалид, урод я, мать! Уж лучше бы...

— Молчи, дурак, — глухо перебила Василиса Антоновна.

— Всякому своя печаль!

— У всех юдна печаль... На-ко, пей.

Он покорно, как лекарство, взял стакан, сказал:

— Чтоб им... — и замолчал, сжав розовые, с изрезанными очертаниями губы.

— Земля была пухом, — досказала Василиса Антоновна, словно речь шла о чем-то, ее не касающемся. — Закусывай только... — и вдруг вскрикнула: — За что? — и крепко вцепилась себе в волосы, чтобы одной болью заглушить другую. — За что? Обоих-то?

Долго молчали.

— Я ведь, мать, не этого боюсь, — гость пошевелил плечом в пустом рукаве, — и не рожи своей изувеченной боюсь. Души своей я боюсь. Знаешь, как мне душу-то искромсало? Живо-го места на ней нету. Чинить ее надо. А чем? — прохрипел он. — А где?

— Залечат, — почти небрежно ответила Василиса Антоновна. — Все залечить можно... Я и то жить буду. Может, долго еще промы-

каюсь. Не хочу я людей своей смертью беспокоить... Звать-то тебя как?

— Владимиром, — с усилием произнес гость.

Она медленно повернула голову в его сторону: удивилась.

— Ты, мать, меня не суди, — тонким голосом попросил он, — у всякого своя печаль... Вчера на кухне кастрюля грохнулась, так я под кровать залез. В ушах-то все еще война, понимаешь? И чем тише кругом, тем...

— Спать останешься?

Долго сидела у него в ногах Василиса Антоновна. Лежал Владимир лицом вверх, положив здоровую руку на обрубок в плече, дышал прерывисто, громко, временами мелко вздрагивал.

Она унесла китель и повесила на стул костюм-тройку, белую рубашку, на пол поставила ботинки.

Проснувшись, Владимир сразу увидел костюм. Василиса Антоновна смотрела невозмутимо.

— Спасибо, мать.

С тех пор и носит она китель вместо домашней кофты, привыкла к нему.

Изредка Владимир навещал ее; коротко, словно виновато рассказывал о своей жизни, и вечер они просиживали почти молча, оба тяготясь этим. После его ухода руки Василисы Антоновны тянулись к шахматным фигуркам.

Однажды Владимир пришел с застенчивой полной женщиной. У нее были пышные рыжие волосы, гладкие розовые руки и ласковые голубые глаза. Вся она была именно такой, какой жены желала своему старшему Васи-

лиса Антоновна. Вот и всплакнула... Зато в этот вечер они разговаривали необычно много. Вернее, говорил один Владимир. Он рассказывал о войне, как о невозвратно ушедшем, пережитом.

В другой раз он принес толстого тяжелого малыша — Ванечку, именно такого, каким представлялся когда-то Василисе Антоновне собственный внук. Они по очереди прикасались к нему, словно для того, чтобы вернуться из воспоминаний в действительность.

— Забывать меня стал, — без упрёка сказала Василиса Антоновна.

— Не угадала, мать. С утра-то день долгим кажется, а вечер подойдет — только руками разведешь: того не успел, этого не успел. Жена у меня в вечерней школе учится, сам я по макушку занят. А сын — тоже ведь забота.

— Знаю, знаю.

В следующий раз Ванечка ковылял рядом с отцом.

— Видишь, мать, рука у меня отросла, — сказал Владимир, кивнув на неестественно прямой протез в черной перчатке. — И тебе мы подарок организовали, — он развернул перед ней отрез материи. — Сшей-ка платье. Китель пора в музей сдать.

— Ладно, — тихо отозвалась Василиса Антоновна.

Ванечка раскапризничался, и она ушла на кухню поискать ему что-нибудь.

Случайно взглянув на шкаф, Владимир заметил шахматную доску. Он неловко опустил ее на стол, и фигурки сдвинулись со своих

мест. Радостно повизгивая, Ванечка начал их раскидывать.

Войдя в комнату, Василиса Антоновна охнула.

— Не бойся, мать, не ломаем.

Василиса Антоновна села и сказала:

— Играйте на здоровье.

Когда гости ушли, она собрала фигурки и расставила их на прежние места. Только желтая королева исчезла. Видимо, далеко куда-то забросил ее Ванечка.

РАЗБОЙНИЦА НЮРКА

Однажды Нюрка ни с того ни с сего заявила на вечере в клубе, когда гармонист отложил свой инструмент, чтобы покурить, а танцоры присели отдохнуть:

— Я бы за любого вышла, только бы хороший парень был.

Красотой она не отличалась, было в деревне много девчат куда ее попримягднее, но девушка она работающая, добрая, фигура ладная. И всё же слова ее, сказанные громко и тоскливо, остались без ответа. Пошутили и — забыли. Получилось, что будто бы и сама Нюрка в шутку высказалась.

Через несколько дней явился к ней кинемеханик Петюня. До него стороной доползли слухи о нюркиной готовности выйти замуж и без особого разбора. Петюню привлекло именно последнее обстоятельство: свою руку и сердце он по несколько раз предлагал во всех деревнях, где бывал с кинопередвижкой, но еще ни одна девушка и даже вдова не ответила согласием.

Причина этого грустного и обидного для Петюни факта крылась вовсе не в том, что он ростом с годовалого теленка, и не в том,

что самой заметной частью его внешности были тонкие, почти прозрачные уши.

Девушек отпугивала его способность круглые сутки пребывать в состоянии, которое они определяли точной и выразительной фразой:

— Через губу переплюнуть не может.

Нюрка его даже в избу не пустила, закричала с крыльца:

— Я как сказывала? За хорошего, говорю, выду! А ты? По колено в водке живешь! Иди отсюда!

Петюня ничего не понял из этой возмущенной скороговорки, потому что пребывал в своем обычном состоянии. Однако, он уразумел, что очередная невеста гонит его прочь. Посему Петюня обругал ее не очень приличными словами и тут же получил под глаз.

Сразу протрезвев, он изрек:

. — Разбойница ты, а не человек... — отошел на несколько шагов, обернулся и добавил: — Дура ты... такого парня... эх!

Удивительно, что он не только рассказал всем о причине появления на своей физиономии синяка, но и при каждом удобном случае отзывался о Нюрке с уважением, употребляя слово «резонно».

Но прозвище Разбойница пристало к Нюрке накрепко, да и сама она, видимо, старалась его оправдать.

Работала она свинаркой, своих подопечных называла тютюлечками, а породистого хряка, купленного в соседнем районе, без всякой задней мысли окрестила Шефом.

Председатель колхоза Добродеев, помнится, уличил ее в политической ошибке и дал ука-

зание переименовать хряка в Кавалера. Но свиначки благозвучия ради продолжали называть деятельность Кавалера не иначе, как шефской помощью.

Сущим несчастьем для председателя бы то, что Нюрка читала газеты и о самых интересных заметках на колхозные темы рассказывала всей деревне.

Про плохое, упоминавшееся в печати, она говорила: «Как у нашего Добродеева», а про хорошее: «Ну, при нашем Добродееве этому не бывать».

Председатель не без основания полагал, что его авторитет подрывает главным образом Нюрка.

Ссорились они на каждом шагу. К примеру, нельзя сказать, что Добродеев был против животноводства, но любил он помечтать о чем-нибудь более грандиозном и красивом, чем строительство кормокухни или вывозка навоза.

Однажды председатель отбыл в районный центр, где должен был купить резиновые сапоги для свиначок. Вернулся он без сапог, но в белых фетровых валенках.

— Как с сапогами? — спросила Нюрка.

Добродеев подумал и ответил:

— Другие дела были. Важнее. Вот!

И стены правления он собственноручно оклеил красочными плакатами. Они призывали: «Лучшие сорта яблонь и груш в колхозные сады!», «Выращивайте рыбу в колхозных прудах и водоемах!», «Лучшие сорта косточковых культур в колхозные сады!».

Председатель прочитал призывы вслух, а Нюрка сказала:

— С тобой мы скоро косточки протянем. У нас на ферме навоза...

— Сознательности у тебя ни на вот! — и Добродеев показал розовый кончик своего толстого мизинца. — Ты смотри переспективно.

— Это как?

Вторично выговорить трудное слово он не решился и ответил:

— А так. Вперед, в будущую даль.

— Мы, значит, на ферме под ноги смотри, а ты в будущую даль? — Нюрка сощурила маленькие глаза, тяжело задышала. — Да в такой грязи не то, что свинья, а и человек не выживет!

Разгневанный Добродеев несколько суток не выделял для вывозки навоза с фермы ни одной единицы гужевого транспорта, а, проще говоря, ни одной кобылы.

Когда он прослышал, что Нюрка всенародно обозвала его шефом, то прикатил на ферму в расписной кошевке, в которую была запряжена лучшая лошадь — Мазонка.

Он вышагивал по двору осторожно, и даже недавно выпавший снег по сравнению с его новыми валенками казался сероватым.

Добродеев шествовал, не глядя по сторонам. Из дверей фермы выскочила Нюрка, заложила два пальца в рот, разрежала воздух свистом, обхватила председателя, поднатужилась и втолкнула в свинарник.

Звякнул тяжелый засов.

Утонув валенками в жидком месиве, председатель на некоторое время лишился дара речи, а когда этот дар к нему вернулся, до девушек долетели такие слова, что Нюрка прикрикнула:

— Милицию позову! Она тебе!

Смех смехом, а свинарки на всякий случай разбежались кто куда. Нюрка же выпрягла Мазонку из расписной кошевки и запрягла в сани, на которых стоял короб.

Дверь она не открывала до тех пор, пока Добродеев не умолк.

Валенки его имели жалкий вид.

Нюрка стояла перед ним с вилами в руках.

— Погодь, разбойница, — сквозь зубы про-
цедил он, — ты у меня...

— Не у тебя я! — перебила Нюрка. — У колхоза я. У меня и родных-то никого нету. Один колхоз остался... В другой раз я тебя всего в навозе вываляю!

С этого случая отношения между нею и председателем, как говорится, обострились.

На собрании однажды объявляют:

— Слово имеет товарищ Добродеев:

А Нюрка из зала кричит:

— Нету у нас такого! Худодеев есты!

После собрания он зашел к Нюрке. Она приготовилась стирать, через плечо взглянула на незваного гостя и склонилась над корытом.

— Присяду если? — спросил Добродеев, опустил на лавку, расстегнул полушубок, выпустив живот на колени. — Замуж бы тебе. Как ты на это смотришь?.. Но женихов за тобой не видно. А изба у тебя кособокая. Хозяин ей нужен. Упадет изба скоро.

— Хорошо, если бы на тебя! — отрезала Нюрка.

— Напорешься ты когда-нибудь языком на гвоздь, — озабоченно и даже сочувственно проговорил Добродеев. — Замуж у тебя, пов-

торияю, не получается. И не получится. Характер у тебя поганый, разбойничий. Боятся его парни. Шутка сказать: самого председателя честишь. Самого председателя! — с неподдельным ужасом повторил он. — Даю совет: угомонись.

— Петюня за меня сватался! — гордо бросила Нюрка.

— Не жених это, — Добродеев хмыкнул, — а жмых.

— Да уж получше тебя!

— Угомонись или... — Добродеев помолчал и твердо закончил: — Или до свиданья. Понимаешь?

— Что-о? — Нюрка встала перед ним, упреков руки в бока, выпятив грудь. — К чему клонишь?

Он поднялся, оглянулся на дверь и прошептал:

— Уезжай-ко. В город, к примеру. Паспорт выдам. Отпущу.

Спас Добродеева рост: даже подпрыгнув, Нюрка не достала председателевой щеки и ударила его в живот. Разревевшись от обиды, она вытолкала гостя из избы, бежала по улице следом и кричала на всю деревню:

— Я те выдам! Я те отпущу. Я те уеду!

Откуда ни возьмись, появился Петюня, не разобрал с пьяных глаз, в чем дело, свалил и без того перепуганного Добродеева в снег.

Но если председатель вылез из сугроба сам, то вытащить на дорогу Петюню Нюрке стоило большого труда. Пока она дотолкала его до избы, вспотела в своем легком ситцевом платье.

Дома Нюрка напоила парня горячим чаем. Петюня виновато молчал и лишь спрашивал изредка:

— Что будет? Кому попадет?

Нюрка сидела рядом, разгоряченная, взбужденная. От близости с ней Петюня расслабел, как бы невзначай коснулся ее плеча и как бы между прочим спросил:

— Хорошо бы нам... а?

— Чего — а?

— Ну, это... я ведь.. на окладе... с профессией... на совещании культработников был... — и неожиданно для самого себя он обнял Нюрку, и она, не зная ласки, вдруг притихла. Петюня до того испугался собственной смелости, что не шевелился. По мере того, как он трезвел, Нюрка, наоборот, все склонялась к его плечу, чувствуя, что голова идет кругом.

— Об чем ты давеча говорил? — спросила она.

— Да про то, что... это...

— Пьяница ты, — придя в себя, сказала Нюрка и отодвинулась.

— Какая я пьяница! — взмолился Петюня. — Да разве так пьют? С горя я употребляю... А на свадьбу, знаешь, кого позову? Начальника райотдела кинофикации. Это раз. Отдел культуры — это два. Киноартистов можно позвать. Они всегда с удовольствием.

— Не знаю, не знаю, не знаю, — радостно шептала Нюрка.

Тут прибежали девочки и набросились на киномеханика: в клубе полно народу, а он...

И вместо обычных ругательств они услышали:

— Извиняюсь, простите, исправлюсь, больше не буду. — Петюня помолчал и добавил: — Резонно.

Измученные девчата попятились к выходу.

В этот вечер случилось еще одно чудо: Петюня демонстрировал фильм трезвым. Нюрку он пропустил без билета и посадил рядом с аппаратом.

После сеанса девчата спрашивали:

— Нюрочка, когда в следующий раз кино приедет?

Утром Добродееву доложили, что Нюрка уехала в райцентр. Председатель отозвался радостно:

— Нарушение трудовой дисциплины, то есть устава сельхозартели, — но тут же побагровел и дал указание запрягать Мазонку.

Оказалось, что Нюрка уехала именно на этой лошади.

Добродеев скрипнул зубами, велел женщинам выйти и на одном дыхании выбросил все ругательства, какие только знал.

А Нюрка в это время была в райкоме партии. Она заходила в каждый кабинет и кричала, что Худодеев губит колхоз.

Рядом стоял Петюня, и когда она замолкала, чтобы набрать в легкие воздуха, мрачно произносил:

— Резонно.

В тот момент, когда Нюрка рассказывала о жизни колхоза в приемной секретарей, сюда явился сам Добродеев.

Их приняли вместе. Петюня остался за дверями и, вытянув шею, прислушивался.

Нюрка кричала. Она не выбирала выражений. Например, в ее рассказе о грязи на ферме слово навоз отсутствовало.

Услышав, что в кабинете наступила тишина, Петюня рванул дверь и выкрикнул, закрыв от страха глаза:

— Резонно!

В горле у него мгновенно пересохло, он схватился за графин с водой и долго не мог попасть струей в стакан.

Нюрка вышла из кабинета, устало улыбнулась. Петюня, в конце концов, наполнил стакан, но отпил прямо из графина.

Добродеев выскочил в приемную, вылил себе в рот стакан воды, крикнул.

Пока он отвязывал Мазонку и, сев в кошевку, укутывал ноги волчьей полостью, Нюрка и Петюня шептались. Она вдруг рассмеялась — никогда Добродеев не слышал у нее такого ласкового смеха — и сказала:

— Это мы еще посмотрим.

Потом она свистнула так, что Мазонка с места помчалась почти галопом. Добродеев испуганно поджал ноги и пробормотал:

— Разбойница...

ЧИСТЫЕ ЗВЕЗДЫ

В таком состоянии лучше молчать. И еще надо — отвернуться в сторону.

— Идемте, — сказал он нам и негромко добавил: — Старик, ты совсем расклеился.

— Ничего, — ответила она неуверенно, — пройдет.

— Чудаки, — сказал я, — будто это от меня зависит.

— А от кого же? — спросил он.

— Хватит, а? — спросила она.

— Вы идите... — начал я, и тут она не выдержала, почти крикнула:

— Да хватит...

Мы пошли по тропинке вдоль берега.

— Быстрее, — сказал он через несколько шагов, — не терпится забросить спиннинг.

— Кто о чем, — сказала она без всякой иронии.

Я сам придумал эту прогулку. Какой-то непонятной, почти загадочной любовью люблю я речушку Ласьву. Местами она проста, как набросок карандашом, тиха и задумчива. Местами она изощренно нарядна, а иногда сердита и даже сурова. В ней много бродов, но есть омуты и водовороты.

Вот я и бросился к ней за помощью.

— Идите быстрее, — снова позвал он, но уже виноватым тоном, — хочется побросать спиннинг.

— Мне тоже, — сказала она опять без всякой иронии, помолчала и добавила: — Научи меня бросать спиннинг. — И через плечо спросила:

— А ты умеешь?

— Когда-то пробовал, — ответил я, — но ничего не получалось.

— Чудаки, — громко сказал он, — дело не в спиннинге.

— И не в рыбе, — добавила она. По-моему, без иронии.

Кстати, она сдержанный человек, хотя я и не могу разобраться, откуда это у нее — то ли от уверенности в себе, то ли от привычки всегда быть в центре внимания и следить за каждым своим словом и жестом. Нет, она не хохочет громко, чтобы скрыть желание расплакаться, и только я вижу, как ей трудно, ей, не привыкшей обращаться за утешением. Все беды и боли она умеет перебарывать сама, одна. А внешне — просто красивая, изящная женщина, достаточно беззаботная, чтобы не выглядеть скучной, и достаточно задумчивая, чтобы не выглядеть пустой. Так и я думал о ней раньше. Так думает о ней и он.

— Скоро придем, — совсем громко сказал он. — Ты не устала?

— Нет, — ответила она и спросила меня: — А ты?

— Тоже нет, — соврал я, и она сказала, почти скомандовала:

— Привал.

Иногда мне хочется сравнить ее — боже, какое банальное сравнение! — с одинокой птицей, которой очень тоскливо в пустом небе, а на земле — слишком суматошно и шумно. Она, действительно, очень одинока, хотя, по-моему, и не сознает этого. Она долго не задумывалась о жизни. Просто — жила. Привыкла, что в нее часто влюбляются. Влюблялась ли сама — не знаю. Может быть, да. Может быть, нет.

Существует такой вид дружбы или знакомства, или — даже и не знаю, как это называть, — когда мы вроде бы дружим, вроде бы нуждаемся друг в друге, но многое, очень многое каждый из нас носит сам в себе.

И совсем страшно, когда так — любят.

Ведь прожил он с ней десять лет, каждую частичку тела ее знает и сколь же мало она отдала, а он взял! Кого обманули? Друг друга! Или каждый сам себя?

— Господи! — воскликнула она. — Да мы забыли о Яшке!

У меня даже ноги подкосились. Если Яшка придет на станцию и не застанет нас, — действительно — господи!

— Ждите меня, — со вздохом сказал он.

— Я бы сбегала, — неуверенно проговорила она, — но ведь вы не отпустите?

— Почему? — вырвалось у меня, когда я подумал о том, как горько быть с ней рядом да еще здесь, на Ласьве, и сидеть, и бросать

ветки в речку. И одинаково бояться и того, что она не шелохнется, и того, что положит голову мне на плечо... — Иди, — попросил я ее.

— Валяй, — сказал он, отвернувшись.

Она ушла, а он сказал:

— Ты совсем расклеился, старик. Мне иногда, честное слово, хочется, чтобы уехали вы с ней куда-нибудь...

— Дурак.

Он помолчал и кивнул.

Сделав крутой поворот, Ласьва ударялась в высокий берег, шумела водоворотом, а через несколько метров снова становилась уютной и тихой. Кстати, на Ласьве за пять лет мы поймали двух окуньков. И для него, рыбака, было жертвой — ходить со мной сюда.

С визгом заскрипела катушка, булькнула блесна.

— Мне легче, — сказал он, — я хоть делом занят.

— Все относительно, — ответил я.

И он опять сказал:

— Ты, старик, совсем расклеился.

— Иди ты к черту, — шепнул я, — и без тебя тошно.

Снова с визгом заскрипела катушка, снова булькнула блесна.

— А ты на меня зря шипишь, — сказал он.

— Конечно, зря.

— Вот, вот. Организуй костер.

— Есть, капитан, — ответил я, — только ты не сердись.

Блесна на этот раз не булькнула — упала в кусты на той стороне.

— Из-за тебя, — сказал он, — придется рвать.

Когда я вернулся с охапкой сучьев, он улыбнулся. И мне стало чуть-чуть легче. Он мой друг, и если блесна для него ценность, я не мог не радоваться вместе с ним.

— Эх, — воскликнул он. — Будь ты человеком, увез бы я тебя на Вишеру... а?

— Все ты врешь, — сказал я, — внушаешь себе и мне, будто ничего не случилось.

Он промолчал и отвернулся.

Вскоре пришла она. За ней переваливался Яша, нагруженный великолепным рюкзаком — обшитым шкурой какого-то зверя, со множеством ремней и пряжек. Это было такое произведение искусства, что даже Яша не ленился таскать его на каждую рыбалку.

— Скажите спасибо, — прохрипел Яша, — что ее подослали. А то бы я вам... — Яша еле дышал.

Она стояла над обрывом; не оборачиваясь, спросила:

— А я-то зачем пришла сюда?

— Вот именно, — многозначительно проговорил Яша. — Между прочим, я у супруги выплакал на коньячок. Когда начнем?

— Вы сначала дров запасите, — сказал он.

Она ушла вдоль по берегу.

Яша за руку увел меня в другую сторону.

— Я ей по дороге все высказал, — гордо сообщил он. — Была хорошая компания и вдруг... Слушай, брось ты это дело! Ну чего ты в ней нашел? Почему именно она? Ну, красивая... Но ведь она жена твоего друга...

— Собственно, что произошло? — спросил

я, чувствуя, как от напряжения стало больно векам.

— Все же видят!

— Что — все видят?

— Ну... — Яша возмущенно запыхтел... — Чего ты из себя мальчика строишь? Не маленькие! Знаем, чем это кончается!

— Что — это?

— Знаешь... — сквозь зубы проговорил Яша. — Я себя дураком считать не позволю! Не хочешь по-человечески разговаривать, не надо! Но учти: дружба дружбой, а...

Я пришел в себя оттого, что замерзли ноги. Я стоял в воде почти по колено... Яша прав. Это всегда кончается для кого-нибудь очень плохо.

Когда я вернулся к друзьям, уже стемнело, уже горел костер, Яша уже раскраснелся от выплаканного у супруги коньячка. Он протянул мне стопку и миролюбиво предложил:

— Давай. А эти судаки отказались.

Ну что ж... Выпьем. Твое здоровье, мой друг. Не сердись на меня. Не я это выдумал. Если что-то случится, значит это выше моих сил. Улыбнись. Вот так. Спасибо.

Она вдруг запела. Никогда я раньше не слышал, чтобы она пела. Это была старая французская песенка о девушке, которая не дождалась солдата, потому что он прослужил в армии двадцать лет. И вернувшись, он не назвал девушку изменницей, хотя сам-то как ушел, так и пришел с той же любовью в душе.

Грустная песенка, но французская. И мы довольно бодро пели и даже немного верили,

что счастлив тот, кто любит, а все остальное не имеет никакого значения.

Кругом была теплая темнота. О чем-то бормотала Ласьва. Кто ее знает, мою речушку, может, не мы первые пришли сюда с такой вот песенкой?

Небо над горизонтом пересекла летящая к земле звезда. Я загадал свое желание.

Она грустно улыбнулась, словно прочитав мою мысль.

— Помяните мое слово, — сказал он, глядя на небо, — утром я вытащу для вас грандиозную шуку.

И я бы соврал, если бы скрыл, что она уснула. Нет, она, свернувшись клубочком, положив голову на колени мужа, крепко спала. И правильно делала.

Вскоре уснул и он.

Яша выпил, облизнул толстые губы, задумчиво проговорил:

— Хоро-ош... — и шепотом: — Я одного не понимаю... Ну найди ты себе какую-нибудь на здоровье...

Вы знаете, я ему ничего не ответил. Во-первых, потому, что над нами сияли чистые звезды. И многие из них еще сгорят на пути к земле. И многие наши желания еще исполнятся. А, во-вторых, я видел, что на чудесный Яшин рюкзак упал уголь и рюкзак дымился потихоньку.

Пожалуй, этот факт произведет на Яшу более сильное впечатление, чем мои слова.

СОДЕРЖАНИЕ

Тетрадь первая

Случайный спутник	5
Война прошла...	10
Слышишь, друг...	16
Чужое горе	21
Костер на том берегу	29
Чистое тело	35
Самое длинное мгновение	40

Тетрадь вторая

Почему плакала девочка	47
Ливень давно утих	54
Этот красивый моряк	60
Архип	67
Толстая тетя в голубом халате	73
Веточка	79
Дед	83

Тетрадь третья

Петровна	91
Соперницы	98
Две чашки кофе	105
Мадонна	111
Никифоров	117

Тетрадь четвертая

Гул дальних поездов	123
Один день из жизни Ивана Шамякина	132
Начало сказки	143
Феня	150
Бывший капитан	157

Тетрадь пятая

В затоне	167
Серебряные звездочки	175
Опавшие листья	179
Желтая королева	185
Разбойница Нюрка	191
Чистые звезды	200

Лев Иванович Давыдычев

ГУЛ ДАЛЬНИХ ПОЕЗДОВ

Редактор *С. М. Гинц*
Художник *Ю. К. Лихачев*
Художественный редактор *М. В. Тарасова*
Технический редактор *В. В. Третьяков*
Корректор *Э. К. Актищева*

Подписано к печати 23|III-1961 г.
Бумага 70×92¹/₃₂ 3,25 б. л., 6,5 п. л., усл.-прив. 7,605 л. Уч.-изд. 6,7 л.
ЛБ00518. Тираж 15 000 экз. Цена 31 к.

2-я книжная типография облполиграфиздата.
Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 1864.

